

Ирвин Уэлш  
Судьба всегда в бегах

## Ирвин Уэлш Судьба всегда в бегах Фармацевтический романс

### Пролог

Пригожая деревенька Штольдорф, подарочный образчик сельской Баварии, располагалась милях в восьмидесяти к северу от Мюнхена, у самого края Байришервальда – дремучего Баварского леса. Впрочем, деревню правильней было бы называть Штольдорфом-вторым; развалины первого, средневекового, просматривались с шоссе милей-другой дальше. Раз, давным-давно, весенний Дунай вышел из берегов и начисто смыл добрую половину тогдашнего поселка. Дабы исключить такие наводнения в будущем, деревню отодвинули от реки-матушки вплотную к подножию лесистых кряжей, гигантскими ступенями уходящих в Чехию, за кордон.

Гюнтер Эммерих решил обосноваться именно в этом патриархальном, беспорочном уголке, благо и родственные зацепки у него в округе наличествовали. Здешней аптеке требовался новый владелец, и шесть лет назад Эммерих ее купил, навсегда распрощавшись с большой фармацевтикой и сопутствующими ей невзгодами. Мудрый поступок. Гюнтер Эммерих был доволен жизнью и считал, что обладает всем, чего можно пожелать. И вдобавок испытывал ехидное удовлетворение, воображая, каким выглядит со стороны: старец с молодой женой, прелестным ребенком, богатый, здоровый. Постдеревенского аптекаря сразу обеспечил Эммериху определенное реноме, а местная родня помогла вписаться в штольдорфскую табель о рангах столь непринужденно, что человеку, подобного тыла лишенному, не приснилось бы. По натуре Эммерих был чересчур скромн, чтобы чваниться, и соответственно не будил в окружающих амбициозных мыслей. Большая фармацевтика этим, с его точки зрения, грешила: наилучшие вакансии доставались бездарям – бездари, как никто другой, умеют выгодно себя подать. В Штольдорфе же бывшая слабохарактерность обернулась бесспорным достоинством. Деревенские чтили этого мягкого, вежливого, обязательного человека, привечали его красотку супругу и малыша. Однако, хоть у Гюнтера Эммериха и не было оснований жаловаться, он засыпал и просыпался с ощущением смутной тревоги, словно бы понимал: настанет час, и все, что он имеет, может – или даже должно – быть у него отнято. Да, Гюнтер Эммерих остро чувствовал брешьность сущего мира.

Бригитта Эммерих, надо заметить, была довольна жизнью еще больше, чем муж. Со времен отрочества, замаранного наркотиками и подростковыми кризисами, лучшим из совершенных ею поступков оказался брак с пожилым аптекарем. Иначе она бы ползала по мюнхенскому Нойперлаху, потребляя и продавая амфетамины. Забавно, что вышла она не за кого-нибудь, а за фармацевта! Любовь в их отношениях, конечно, не ночевала, зато искренняя приязнь крепла на протяжении четырех совместно проведенных лет и схватилась намертво в день рождения сына.

Между тем сувенирная внешность деревни, при всем ее правдоподобию, отдавала ощутимой показухой; как любой населенный пункт, Штольдорф был многослоен. Эта местность до недавних пор оставалась одним из самых потаенных районов Европы; доступ и с Запада и с Востока прищемлял близкий и непреложный Железный занавес. По ночам мглистый лес за околицей источал зловещие сны, оправдывая древние легенды о зверюгах, рыщущих в его дебрях. Гюнтер Эммерих был религиозным человеком, однако ведь и образованным тоже. Он не верил в зверюгу, которая подкрадывается к опушке, чтобы наблюдать за беспечными штольдорфцами. Хотя порой ему чудилось, что лично за ним-то как раз подсматривают, шпионят, охотятся. Гюнтер не знал, чего ожидать от монстров, но отлично знал, на что способны люди. Бавария играла ключевую роль в становлении и триумфе нацизма. Едва ли не у каждого старожила в Штольдорфе было что скрывать, и о твоём прошлом тут не расспрашивали. Эта черта местного уклада импонировала Гюнтеру Эммериху. По скрытности он был настоящим экспертом.

Морозным, сумрачным декабрьским утром Бригитта и ее маленький сын Дитер поехали в Мюнхен купить кое-что к Рождеству. Как христианин Гюнтер Эммерих не одобрял околорождественскую коммерцию, но любил сам праздник и традиционный обмен подарками. Мальчик появился на свет незадолго до минувшего Рождества; иными словами, скоро они впервые усядутся под елкой втроем, по-семейному. В прошлом году Рождество не задалось. Сразу после родов Бригитта впала в депрессию. Гюнтер поддерживал ее как мог, заставлял молиться. Господь был их главным опло-

том: оба некогда работали в мюнхенской благотворительной миссии, где и познакомились. Мало-помалу Бригитта вернула себе бодрость духа и зимних праздников ждала с нетерпением. За минуту-другую все это рухнуло.

Всего на минуту-другую она оставила ребенка одного на людной Фусгенгерцоне и заглянула в магазин «Подарки», чтобы купить Гюнтеру прелестную булавку для галстука. Выйдя на улицу, она обнаружила, что малыш и прогулочная коляска исчезли; на их месте зияла тошнотворная пустота. В крестце вспыхнул зубчатый озноб, пополз вверх по спине, последовательно выламывая позвонки. Объятая цепенящим ужасом, она с усилием повела головой – ничего, мельтешенье прохожих. Некоторые с колясками, но коляски другие и дети другие. Ржавчина паники будто разъела все скрепы ее костяка, так что громкий стон, вырвавшийся у Бригитты Эммерих, расплющил, размазал ее по витрине.

– Вас ист лос? Бист ду кранк? – спросила некая старушка.

Но Бригитта лишь кричала в ответ, и зеваки окружали ее плотным кольцом. Полиция ничего толком не добилась. Примерно в то время, когда исчез ребенок Бригитты, кое-кто видел молодую пару с малышом в прогулочной коляске, удаляющуюся от магазина «Подарки». Описать их точные приметы свидетели, впрочем, не сумели. Чего приглядываться: рядовая семья с ребенком. Однако опрошенные припоминали, что в этих молодых людях была какая-то странность. Трудно уловить, в чем конкретно она заключалась. В том, как они двигались, что ли?

Восемь дней спустя убитые горем Эммерихи получили из Берлина посылку без имени отправителя. Внутри лежали сизые, отекавшие пухленькие ручки – правая и левая. Оба сразу догадались, что из этого следует, но только Гюнтер знал почему. Полицейские медики пришли к выводу, что ребенок ни при каких условиях не мог выжить после подобной ампутации, произведенной посредством примитивного инструмента типа ножовки. Над локтевыми суставами считывались отчетливые следы тисков. Если б Дитер Эммерих не умер от болевого шока сразу, он погиб бы от потери крови через несколько минут.

Гюнтер Эммерих понял, что прошлое с ним все-таки рассчиталось. Он направился в гараж и выстрелил себе в лицо дробью из охотничьего ружья, о существовании коего жена даже не подозревала. Бригитту Эммерих соседи нашли наглотавшейся таблеток, в луже крови, вытекшей из изрезанных запястий. Ее поместили в психиатрическую лечебницу на окраине Мюнхена, где она скончалась через шесть лет, так и не выйдя из кататонии.

## Заморочки

Если честно, я б обошелся без этих хреновых заморочек, особо учитывая дельце, которое мы загрузили на вечер. Что уж, все планирование заведомо летит на хрен. Вы же сюда не приходите специально, чтобы махаться. Это не в нашем заводе, ёшь-то, не в нашем.

– Давай выйдем разберемся, ну-ка, – говорит эта выпендренная илфордская сука.

Я повернулся к Бэлу и лишь затем к трепливой илфордской твари.

– Ну-ка, и правда разберемся, только выйдем. Выйдем.

Это теперь, задним числом вспоминая сучий настрой, трясучие губы хмыря и его кореша и их слегка бледный вид перед выходом, я бы мог предсказать, чем все это кончится.

Илфордский Лес, не такой уж и раздолбай, говорит:

– Эй, ребя, нам эти все заморочки ни к чему. Дейв, успокойся, – говорит он мне.

Но нет, они не высказываться сюда пришли. Не высказываться. Я на трепню этого хмыря плюю, я киваю Бэлу, и мы направляемся прочь.

– Вы двое, – тычет Бэл пальцем в наширявшегося амбала Хипо и его дружка, сволочь трепливую, – вы, суки, двое, на воздух, быстро!

Они шлепают за нами, но не уверен, что так уж хотят. Несколько илфордских хмырей пробуют выйти следом, однако Ригси гавкает:

– Сидите, блин, тихо и пейте свое пиво. Все устаканится без вашего участия.

Значит, мы с Бэлом против двух илфордских мордоворотов, и не к кому им припасть, они как овечки на очереди к резаку. Но тут я замечаю, что одна сука при оружии, вынимает лезвие и становится в стойку напротив Бэла. Это все фигня по сравнению со вторым кренделем, о котором я прилично было подумал, да он спекается, сука. Он выдает пару техничных ударов, но не дотумкивает, что я в полусреднем, а он в весе пера, и мне до его тычков как до фонаря, а мне и впрямь до фонаря,

и раунд заканчивается досрочно. Я бью его в челюсть и два раза по ребрам, и он рушится на гудрон автостоянки.

– Это у нас, бля, Рембрандтов блудный сын, глядите-ка! Никак, бля, с холста не слезет! – кричу я мерзавцу, который прям-таки размазался по тротуару и вроде не так уж выпендривается. Засаживаю носок ботинка ему в кадык, и у него вырывается визгливый рвотный позыв. Еще пару раз его херачу. Вся эта процедура печальна; он уже ни на что не годится, и я отправляюсь к Бэлу на подмогу. А тут такая фигня: поначалу Бэла не видать, затем он появляется из ниоткуда, zenки растопырены всю, запястье в крови. Вид еще тот. Хмырь пырнул его и сбежал, метелка поганая.

– Чертов раздолбай руку мне порезал! У него перо! А мы один на один! Эта гребаная тварь та еще блядь! Та еще блядь! – вопит Бэл, и тут его взгляд падает на хмыря, которого я уделал, тот все валяется на тротуаре и стонет. ССУУУКИ! ФИГОВЫ ИЛФОРДСКИЕ ССУУКИ! – Он отбивает ботинками морду этой илфордской суки, которая пытается заслонить свою, ешь-то, вонючую вывеску.

– погоди, Бэл, сейчас эта сука вытянет руки по швам, – говорю и принимаюсь бить по сукиному копчику, отчего он выгибается, и Бэлу становится хорошо и вольготно, а подонку плохо и мутно.

– Я НАУЧУ ВАС СУК МАХАТЬ ПЕРОМ КОГДА ОДИН НА ОДИН ССУУКИ!

Мы оставляем илфордского онаниста лежать где лежал. Ему пришлось бы хуже, был бы он не наш, с Майл-энда например, а не из конторы. Они-то себя тоже зовут конторой, но настоящая контора – это мы. Нам это ясно как день. Легионеры, ешь-то. Мозговой центр из себя корчат. Как бы там ни было, мы оставляем хмыря отдыхать на парковке и валим в «Грозди» закончить выпивку. Бэл стягивает футболку и забинтовывает ею кисть руки. Голый по пояс, вылитый Тарзан. Рука-то у него порядком кровит, требуется немедля наложить швы в травмоотделении Лондонской больницы в конце улицы. Но это подождет: главное – чтоб увидели, чтоб охнули, какие, ешь-то, дела творятся. Честно говоря, приятно вернуться в бар, лыбясь, ровно пара чеширских котов. Наши раздражаются приветственными воплями: илфордские помаленьку сваливают через заднюю дверь. Один только Лес из их группировки выступает вперед.

– Ну лады, вы своего, ребята, добились, от и до, – говорит он. Хороший парень Лес: соблюдает конвенцию, если врубаетесь, о чем я вообще. У Бэла кислый вид. Его раненая рука – убедительное зрелище, ничего не скажешь.

– Нечестно вы, ребятки, играете, – говорит он. – Какой-то хмырь втихаря подсунул Хипо лезвие!

Лес пожимает плечами, словно он тут ни при чем. Может, они впрямь ни при чем. А Лес – не такой уж и раздолбай.

– Впервые слышу, Бэл. Куда делись Грини и Хипо?

– Грини – это та тварь трепливая, что ли? Последний раз мы его видели у стоянки, в разобранном состоянии. А этот сучонок Хипо, тот поволокся к метро. Скорей всего, сел на Восточную линию через Темзу, так ее мать. В следующем сезоне он как пить дать к милуоллским подастся!

– Не перегибай, Бэл, мы все тут болеем за Западный Гэмпшир. Ты в этом не сомневайся даже, – подходит сзади Лес.

Лес парень нормальный, но что-то в его, ешь-то, голосе наводит меня на печальные размышления. Я дергаю головой назад и попадаю ему прямо по переносице. Хруст, он откидывается навзничь, пытаюсь остановить кровотечение.

– Хоть убей, Торни... мы, бля, на одной стороне... не надо нам друг против друга-то, – говорит он, захлебываясь кровью, которая течет из него на стол.

Похоже, все и впрямь по-честному. Мастерский получился удар. Хотя кровь, она да. Держал бы свою вывеску подальше, хмырь непомнящий. Кто б этому говнюку платок поднес, чесслово.

– И попробуйте, илфордские суки, сделать вид, что ничего этого не было, – кивая мне, орет Бэл. Он смотрит на Культяпого и Ригси: – Давайте, ребята, выпьем за Леса и тех, кто с ним пришел. Мы ж все здесь контора, твою мать, или кто?

– Эй! – кричу я илфордским. – Подали б вы, хмыри, старине Лесу платок, или уж полотенце из сральника, или уж я не знаю. Хотите, чтоб он истек кровью до смерти?

И все они начинают суетиться, трахари. Я поворачиваю zenки к Крису, бармену, который как ни в чем не бывало протирает кружки.

– Извини, Крис, – ору я, – давай сговоримся о паре вещей. Нам ведь заморочки ни к чему? – Он кивает. Нормальный крендель – Крис. Илфордцы остаются ненадолго, однако их явно потряхивает, и они выстраиваются чуть ли не в очередь, чтобы извиниться и отчалить. Бэлу приходится ждать, пока

не уйдет последний, и держать морду лопатой, хотя порез на руке его уже доконал. Он не желает, чтоб хмырь по имени Хипо всюду трепался, что солидно подколот самого Барри Лича. Едва все они отвалили, Ригси мне говорит:

– Лишнего ты тут, Торни, наворочал. Лесу-то зачем было вывеску портить? Он же правильный хмырь. Мы ж с ним на одной стороне баррикад. И вроде за экстази полез, сутенер сраный. Нет, здесь я ему компанию не составлю.

– Херня все это, – говорит Бэл. – Торни был прав. Тут ты меня, Дейв, уел, признаю. Да, вся эта шобла нам, может, и пригодится, но не целоваться же с ними из-за этого.

– Мне одно не понравилось в том, как он себя вел, – говорю. – Отсутствие, блин, должного уважения!

Ригси изо всех сил кивает, подсказывает и прочее, значит, куда-то намылился, что и кстати, так как, заскочив в травмопункт, чтоб Бэлу наложили швы, я, Бэл и Культяпый должны пилить прямо к Бэлу и обмозговывать ночную работенку, мы давно б уже у него были, если б раздолбай илфордские не вклинились. Так что, завалившись к Бэлу, мы приходим в отличное расположение духа; ну, Бэла-то, я подозреваю, слегка пошатывает от потери крови. Оглядываю себя в высоком Бэловом зеркале: парень хоть куда. В спортзале я одной левой побивал тяжеловесов. Все на месте, с какой стороны ни сунься. Гляжу на дружбанов: иногда они кажутся порядочными гадами, но это лучшие дружбаны, о каких только мечтать можно. Бэл, он на голову ниже меня, но в том же весе. Культяпый, он отчасти зануда, но все равно второго такого поискать. Лучше б он, конечно, побольше помалкивал, однако поладить с ним нетрудно. Ригси в последнее время от нас как-то откололся. Нас всегда было четверо, а теперь только трое, ну и что с того? Даже когда его нет, он с нами, если вы сечете, что я имею в виду.

– Ригси, – хмыкает Бэл, – совсем уж паинькой заделался, правда?

И мы дружно гогочем над этим хмырем.

## Лондон, 1961

Верный своим привычкам Брюс Стерджесс явился в конференц-зал за четверть часа до начала совещания. Порепетировал со слайдами, следя, чтобы изображение, отбрасываемое на экран лучом проектора, четко и ясно просматривалось из всех углов помещения. Наладив резкость, он подошел к окну и оглядел новый административный корпус, строившийся напротив старого. С фундаментом возились целую вечность, но уж когда закончили, здание быстро пошло в рост, и по меньшей мере два ныне здравствующих поколения горожан обречены, как впервые, восхищаться его силуэтом. Стерджесс позавидовал строителям, позавидовал зодчим. «Вот кто и впрямь возводит себе прижизненные памятники», – подумал он. Зал понемногу заполнялся. Первым пришел Майк Хортон, потом энергичный Барни Драйсдейл, на пару с которым Стерджесс накануне вечером изобретал всякие тактические хитрости за обильной выпивкой в пабе «Белая лошадь» у Трафальгар-сквер. Они с Барни засиделись в крохотном тесном баре, чья клиентура состояла в основном из сотрудников соседнего южноафриканского посольства, обсуждая вероятный ход сегодняшнего совещания. Барни подмигнул Брюсу и принялся перебрасываться дружелюбными репликами с шефами подразделений, рассаживавшимися вокруг большого полированного дубового стола.

Сэр Альфред Вудкок вошел, как обычно, последним и на подгибающихся ногах проследовал к своему креслу во главе стола. Брюс Стерджесс произнес про себя то, что произносил каждый раз, когда сэр Альфред там устраивался: «Хочу сидеть на твоём месте». Все тут же прикусили языки, кроме Барни: тот не сумел вовремя заглушить свой бас, и финальную гласную ему пришлось тянуть в полной тишине.

– Ой... виноват, сэр Альфред, – сказал он с хриплой горчинкой.

Сэр Альфред скривился; пожалуй, один Барни мог вычитать в этой усмешке не только злобу, но и снисходительность великодушного патриарха.

– Доброе утро, господа... мы собрались здесь прежде всего затем, чтобы поговорить о теназдрине, который должен бы обеспечить нам лидирующие позиции на рынке лекарств... выражаясь точнее, Брюс доложит, в силу каких таких достоинств данный препарат обеспечит нам лидерство. Брюс? – повел подбородком сэр Альфред.

Стерджесс поднялся, словно его подбросило. Не отводя глаз от кислой мины Майка Хортонa, с театральной оттяжкой включил проектор. Чертов Хортон пропихивает в рекламную смету какую-то

убогую микстуру против стоматита. Куда ему тягаться с тена-задрином. Брюс Стерджесс очень надеялся на этот препарат; но еще больше Брюс Стерджесс надеялся на Брюса Стерджесса.

– Спасибо, сэр Альфред. Господа, я постараюсь убедить вас в том, что, если компания откажется от раскрутки теназадрина, она упустит шанс, который фармакология предоставляет нам раз в четверть века, не чаще.

И Брюс Стерджесс действительно постарался. Хортон ощущал, как атмосфера холодной сдержанности, царившая в зале, смягчается. Он фиксировал растроганные кивки, оживленные поерзывания. Постепенно во рту у него пересохло; сейчас бы глоточек родимой микстуры против стоматита. Жаль, за ее производство примутся, судя по всему, еще весьма и весьма не скоро.

## Индзастройка

В хоккейной маске довольно душно, но такими уж их изготавливают. Лучше на эти темы не думать. Однако маску явно варганил какой-нибудь выдающийся халтурщик, черт. Квартал мы предвительно обнюхали до кирпичика, выяснили, насколько хозяин тароват и на что его деньги тратятся. Надо отдать должное Культяпому: соглядатай он классный. Кстати, за этими типами из коттеджей следить не так уж и трудно. Они рабы привычек, день их расписан по часам. И пускай они такими и остаются, потому как это выгодно для дела; а, по выражению Мэгги, все, что выгодно для дела, выгодно для Британии, цитирую близко к тексту.

Единственная подлянка заключалась в том, что дверь открыл не кто-нибудь, а эта курица Дорис. Ну и раз уж я выполнял обязанности тарана, то просто как следует пихнул ей меж ключиц, она и растянулась в прихожей ногами к порогу, грянулась всеми своими телесами и лежит там на полу, корчится, словно ее паралич разбил. Ни звука не проронила, не вскрикнула, ничего. Я вошел и захлопнул дверь. Лежит, и все; жутко умирительно; представляете, как я на нее разозлился? Бэл наклоняется и приставляет ей к горлу нож. Едва она фокусирует взгляд на лезвии и осознает, что это, собственно, за штука, глаза выскакивают у нее из орбит. Потом она прижимает подол к коленкам. Я сдавленно ржу: захотеть ее, щекастую рухлядь, способен разве что полный псих. Бэл ровно говорит ей своим специальным ниггерским голоском, с вест-индским таким акцентом:

– Будешь молчишь, будешь живешь. Шутишь с нами шутики, завтра твоя белая жопа попадай телевизор, жынцна.

Бэл настоящий артист, этого у него не отнимешь. Он даже веки и губы под маской зачернил. Дорис молча его разглядывает, зрачки расширились, будто кто-нибудь накормил ее экстази. Туг возникает этот хмырь, ее муженек.

– Джеки... бога ради...

– ЗАТКНИ СВА ГРЯЗНУЮ ХАБАЛКУ! – ору я ему с шотландским выговором. – ЕСЛИ ХААЧЕШЬ ПАЛЧИТЬ СВА БАБУ ЦЕЛОЙ, ЗАТКНИСЬ, ПОЯЛ?

Он робко так кивает и просит:

– Пожалуйста, берите все что унесете, только не...

Я подхожу и сильно бью его затылком об стену. Бью три раза: первый ради дела, второй ради забавы – ненавижу таких вот ублюдков – и третий на счастье. Затем врезаю ему по яйцам коленкой. Он со стоном сползает по стене, сука недобитая.

– Яа велел те заткну-уться, хеар! Яа скаал заткнись и делай шо тея пап-росят, и таа не буэт бо-бо, поял?

Кивает, присмирел, вдавился в стену, дровича жалкий.

– И теэрз, если падымешь шум, сынок, тая миссэс ею жись буэт на аптеку ра-або-тэтэ. Поял?

Кивает, у него уже полные штаны. Смешно, когда я был мальцом, люди то и дело жаловались моему старику – а он шотландец, – люди типа этого сраного мешка жаловались, что не понимают шотландского акцента. Это смешно потому, что всякий раз, как я проворачиваю подобные делишки, смысл до них доходит безошибочно, со всеми нюансами.

– Вод деберь бсе апстоаит роасдюесно, – говорит Культяпый, прикидываясь коренным ирландцем. – Вод. Чичоас я буду воам дизнаделен, коль вы пдинеседэ сюда бсе дедьги и доагоценнодти, коакие есть в добе. Вод. Положите бсе в эдод бакедик, не? Если не роашшумидесь, нам, пра, непидетэ будить беддых бадышей тоам, даведху. Вод.

Разные акценты – отличная уловка, чтоб запутать мусоров. У меня хорошо выходит шотландский благодаря моим старухе и старику. Ирландский у Культяпого тоже неплох, хотя он иногда

перегибает палку, а уж вест-индский говорок Бэла – шедевр, да и только. Муж, сука обдристанная, ходит по дому с Культяпым, а Бэл не отнимает ножика от горла жены и прижимает ее, чтоб не рыпнулась ненароком. На мой вкус, чересчур сильно прижимает, хмырь паршивый. Я же готовлю всем чай, что вовсе не так легко, когда на тебе перчатки и прочая амуниция.

– Пезнье есть, мать? – спрашиваю у нее, но у несчастной телки и язык-то не шевелится. Она показывается пальцем на сервант выше по лестнице. Я проверяю, что там есть. Ё-мое, пакетик «Кит-Кэт». Это ж объедение, и впрямь подзакусить было бы кстати. Чертова маска, до чего жарко в ней.

– Саись на кшетку даай, мамаш, – предлагаю ей. Она не двигается.

– Посаи ее на ее занницу, Бобби, – говорю я Бэлу. Он взгромождаст ее на кушетку, приобняв одной рукой, словно лучшую, блин, подружку. Я ставлю перед ней чашечку.

– Токо не удумай пленуть чаэм в чу-нито морду, ма, – предупреждаю ее, – а то вишь, там детская наэрху? Буэт корм червяам!

– Я и не... – отстукивает она зубами. Бедняжка Дорис. Сидит себе дома, телик смотрит, и вдруг такое. Страшно представить, по правде-то говоря.

Бэл недоволен:

– Пей свой сраный чай, жыншна. Мой кореш Херсти готовить вкусный чай. Пить чай Херсти. Думать, мы твои шестерки? Белая сучка!

– Эй-эй, остыэнь. Дэушка нашего чаю не хочт, дэушка ваще чаю не хочт, – говорю я Бэлу, или Бобби, если на то пошло.

Когда мы обделывали такие делишки, всегда звали друг друга Херсти, Бобби и Мартин. В честь Бобби Мура, Джеффа Херста и Мартина Питерса – «Хаммеров», которые добыли нам Кубок мира в 1966-м. Барри был Бобби, капитаном; я был Херсти, центральным нападающим. Культяпый – тот вообразал себя Мартином Питерсом, полевым диспетчером, за десять лет до того, как сам стал играть и как все это плохо кончилось. Естественно, наличных в доме негусто: мы наскребает порядка двух сотен. В этих чертовых коттеджах никогда и фартингом не разживешься. Мы их грабим исключительно потому, что это легко и взбадривает. А также заставляет работать головой в подготовительный период. Соображалку тоже тренировать надо. Вот почему мы контора номер один в стране: мозговать умеем, а как же. Размахивать руками на людях каждый болван может; только планирование и организация отличают истинных профессионалов от тупого сброда. Тем не менее Культяпый выведывает шифры кредитных карточек хмыря муженька, обходит несколько ближайших банкоматов и возвращается с шестью сотнями добычи. Хреновы машинки с их дурацкими предохранителями. Лучше выждать до полуночи и, к примеру, в 11.56 снимешь двести, а уже в 12.01 – еще двести. Сейчас только 11.25, и маячить тут столько времени стремно. Всегда закладываешься на больший срок, думая, что тебе окажут сопротивление. А в этом коттедже все получилось слишком, ёшь-то, быстро. Связываем обоих, Бэл выдирает телефонный провод из розетки. Культяпый кладет руку хмырю на плечо.

– Вод. Вы, дебядки, де вздубоайте ходидь в бодицию, не? Даведху спьоат двое бидых дедишек, и звадь их Энди и Джессика, ведно?

Те кивают, совсем припухнув.

– Ваб же де подравица, если бы за диби веднебся, де подравица? Вод.

Они в ужасе пялятся на него, суки перепуганные. Я добавляю: – Мэ знам в каую школу ониэ хоят, в каой скаутский круок, в каой отряд для дэочек, мэ знам все. Выэ нас заудьте, и мэ вас заудем, ладызэ? Выэ дешво отделаэлись!

– Так что к влас-тяаам не ходить, – тянет Бэл, прикасаясь к теткиной щеке тупым краем лезвия.

Вся левая половина лица у бабы вспухла и покраснела. И мне становится как-то не по себе. Я никогда бы не ударил Дорис, я ж не такой, как мой старик. Правда, он маму больше не бьет, но только после того, как я предупредил эту задницу, чтоб он ее пальцем не трогал. На что я ни при каких условиях не способен – так это ударить Дорис, ту или эту, неважно. А сегодня, ну ладно, сегодня не считается, мы ж работали, и этим все сказано. Тебе отвели роль тарана, и уж будь добр, не подведи. Первая же сука, которая откроет дверь, получает по морде, Дорис, ешь-то, или не Дорис, получает полную порцию. А моя полная порция – это вам не бирюльки. Вроде успех всей работы от первого шага зависит, и ты просто не должен подвести. Профессионал есть профессионал. Я уже говорил, речь идет о деле, а то, что выгодно для дела, выгодно и для Британии, и я обязан в меру сил поспособствовать «Юнион Джеку». Надо попросту вывести за скобки свои личные «нравится – не нравится», они тут абсолютно ни при чем. Однако мордовать какую-нибудь Дорис я не готов, ни хрена

не готов, и это совсем не личное. Я не говорю, что это недостойное занятие, я знаком с кучей дорис, которые заслуживают хорошей плюхи; я просто имею в виду, что настоящего удовлетворения от такой плюхи не получишь.

– Ду, бдядно ибедь дело с такими мидыби дебядкаби, – говорит Культяпый, и мы исчезаем, не тревожа более покой этого уважаемого семейства, и в ушах у нас привычно рокошет адреналин.

Единственное, чему я рад, так это тому, что мы не разбудили детей. У меня самого есть пацан, и как представишь, что какая-нибудь сука... да нет, никакая сука не осмелится. И все же меня чуть подташнивает, и я решаю пацана поскорее проведать. Может, завтра с утра к нему заскочу.

## **Вулвергемптон, 1963**

Спайк хохотнул и поднял кружку берегового горького на уровень подбородка.

– Ну, Боб, твое здоровье, – когда он лыбился, глаза по обе стороны вдавленной переносицы суживались в слитную горизонтальную щелочку, похожую на второй рот, – и шоб все у тебя было в ажуре!

Весело прищурившись, Боб глотнул пива, оглядел трудяг за столиком. Отличные они ребята, даже Спайк. Спайк, в общем, не такой уж дундук. Ему нравится сидеть в дерьме, и осуждать его за это глупо. Предел Спайковых мечтаний – жить себе поживать и дальше на Шотландцах, транжирить солидный оклад на выпивку и лошадей, которые заведомо не придут первыми. С тех пор как Боб переехал в район коттеджной застройки «У брода», они отдалились друг от друга не только территориально – человечески. Спайк тогда сказал: «Фиг ли ты прешься к черту на рога, да еще за такие бабки, а нам тут скоро квартплату скостят. Во загуляем!»

Загул, по его понятиям, как раз в этом и состоял: нажраться берегового. «Северный берег Молино» по субботам после получки и ставок. Потолок Спайка, выше ему не прыгнуть. Боб тоже рабочий и не стыдится этого, но он рабочий квалифицированный, с будущим. Он обеспечит своим детям пристойную жизнь. Детям. Первый уже на подходе. От этой мысли голова закружилась сильнее, чем от стопки рома, опрокинутой прицепом к пиву.

– Ща по второй. Боб, – припечатал Спайк.

– Мне вообще-то хорош. В роддом надо подскочить. Врачи говорят, в любой момент.

– Ни хрена подобного! Первый всегда годит, кого хошь спроси! – рывкнул Спайк, а Тони с Клемом в знак согласия забарабанили пустыми кружками по столешнице. Но Боб все-таки ушел. Он не сомневался, что оставшиеся примутся честить его, и догадывался, какими словами: он-де стал слаб в коленках, такой навар испортил. Пусть честят. Ему надо повидать Мэри, и точка.

Шел дождь: мерная тоскливая морось. Хотя не было еще и четырех, уже смеркалось по-зимнему, и Боб поднял воротник, спасаясь от пронизывающего ветра. Показался автобус «Мидленд-ред», проехал мимо Бобовой протянутой руки, зафитилил в горку. В салоне были свободные места. Боб стоял прямо на остановке, но автобус не притормозил. От такого тупого хамства Боб и растерялся, и разозлился. «Эй ты, говенный „Мидленд-ред“!» – крикнул он вдогонку вертлявой, бесстыжей автобусной корме. И потащился на своих.

Едва очутившись в роддоме. Боб смекнул: что-то неладно. Всего лишь сполох в глазах, мимолетное предвестие беды. «Каждый будущий отец такое чувствует», – подумал он. И ощутил это снова. Что-то не так. Но что может быть не так? На дворе двадцатое столетие. Нынче все у нас так. Мы ведь в Великобритании живем. Боба точно под дых ударили, когда он увидел Мэри под простыней, слабо завывающую, наколотую транквилизаторами. Выглядела она чудовищно.

– Боб, – простонала она.

– Мэри... что творится-то... ты уже что, того... прошло нормально, нет... где ребенок?

– У вас девочка, крепенькая девочка, – с холодным безразличием сообщила медсестра.

– Они мне ее не показывают. Боб, не дают обнять мою малютку, – заскулила Мэри.

– Да что тут происходит? – крикнул Боб.

За его спиной выросла вторая сестра. С вытянутым измученным лицом. Такое лицо бывает у человека, только что узревшего нечто жуткое и непостижимое. Профессиональная вежливость сидела на ней как смокинг на бомже.

– Есть пара отклонений от нормы, – протяжно выговорила она.

## **Вошья привычка**



Замок она, тварь, так и не сменила; правильно, чувствует, что я с ней тогда вытворю. Я когда свалил с этой помойки, свою связку погодил выкидывать. Я ей вправил, что мне требуется отдельная берлога, так всем удобней. Но уж и от ее клоповника я себе ключ оставляю, чтоб иногда заскакивать и видаться с пацаном; а кто мне запретит видаться с пацаном? Она слышала, я в скважине шебаршу, а все равно тарашится на меня, как отмороженная. Пацан, правда, тоже тут, из-за нее выглядывает.

Она курит при нем, ешь твою. Высмаливает по две пачки в день. Привычка ее Вошья. Не терплю, когда кони курят. Кренделя там – пускай их, а вот если конь, особо молодой конь. Ну, короче, к старушке своей я ж не в претензии. Она и так никакой, ешь-то, радости в жизни не видит, вот и пусть себе дымит, я не против. А молодой конь с сигаретой – прошмандовка прошмандовкой. Потом, надо ж учитывать медицинский аспект. Последний раз я ей так и сказал. Я ее, сучку, предупредил, чтоб не курила при мальце. Ты медицинский, ешь, аспект учитывай, говорю. Ладно, лопнет у меня когда-нибудь терпение.

– Ему новые туфли нужны, Дейв, – говорит.

– Да-а? Ну так я ему сам принесу, сам, – отвечаю.

Хрен она у меня еще живых бабок допросится. Купит самую дешевку, на то, что от курева останется, Вша чертова. Меня, ешь, запростак не разжалобишь. Пацан глаз с меня не сводит.

– Ну, как оно тут, сынок?

– Нормально, – говорит.

– Нормально? – это уже я. – Как понимать «нормально»? Что ж ты не целуешь папаню-то своего, а?

Подходит, чмокает меня в витрину, слюнка влажная такая.

– Вот это другой разговор, – говорю и волосы ему ерошу. Хотя пора б завязывать с облизываниями, великоват он уже для таких дел. Глядишь, слабина в нем поселится от этих сюсь-пусь, а то еще станет одним из малолетних педиков, от которых давно плюнуть некуда. Извращение это. Поворачиваюсь к ней: – Слышь, тот толстожопый рукосуй больше, надеюсь, не вертелся у школы, а?

– Нет, больше я про него не слыхала.

– Услышишь – прямиком ко мне. Никакая рвотная шваль к моему сыну не подкатывалась, не подкатывалась, а, сын? Помнишь, чему я тебя учил, если тебя в школе кто-нибудь вздумает обжигать?

– По яйцам р-р-раз! – отвечает.

Я смеюсь и отвешиваю ему пару тренировочных ударов. Сильные руки для такого возраста, от хорошей яблони яблочко, только б Вша его своим воспитанием не изгадила. Вша. Видок у нее сегодня смачный, макияж и все такое.

– Есть у тебя кто-нибудь, родная? – спрашиваю.

– В данный момент нет, – колетса она и всячески строит из себя целку.

– Ну, тогда снимай трусы, быстро.

– Дейв! Не смей так выражаться. При Гэри не смей, – говорит она, показывая на парня.

– Ну, лады. Слушай, Гэл, на, держи бумажку, купишь себе конфет. Вот ключи от машины, этим дверца открывается. Полежай туда и жди нас, хорошо? Я через минуту спущусь. Нам надо с мамой о взрослом поговорить.

Кренделек учапывает с денежкой, а она начинает ломаться.

– Я не хочу, – говорит.

– А мне насрать, хочешь ты, ешь-то, или не хочешь, – говорю я ей.

Никакого, ё, уважения, всегда со Вшой так, дефект у нее, что ли, врожденный? Она строит эту говнистую физию, но порядок знает: скидывает шмотки и рулит в комнату. Я заваливаю ее на постель и принимаюсь целовать, сую язык ей в рот, будто в захезанную пепельницу. Раздвигаю ей ноги, вставляется довольно легко, у нее там, у Вши немытой, чвакает, как в мокром поролоне, и начинаю ее дрючить. Мне просто надо спустить, что накопилось, и сматывать отсюда к своей несчастной тачке. Но штука в том, что когда я в ней, не могу кончить... и, главное, всякий раз знаю, что так будет, а один фиг лезу. А она тем временем заводится, она, которая, ешь-то, вообще ничего не хотела, еще как заводится, а я все не могу кончить.

УРЫЛ БЫ ЭТУ МАНДУ ЭТУ ДОЛБАНУЮ КОБЫЛУ И НЕ МОГУ ЕШЬ-ТО КОНЧИТЬ.

Я, уж наверно, распанахал ее вонючую щель до крови, до гланд эту грязную сучку пропер, но чем глубже я долблю, тем ей вольготнее, прям-таки пир души у нее настал, у хреновой помоечной,

потасканной зловредной хреновой подстилки... все это не в кассу, не в кассу... он маячит передо мной, Лайонси из «Милуолла», маячит передо мной и никак не сгинет. Я Лайонси сейчас пытаюсь отодрать, не ее. За ту махаловку в Родерхитском тоннеле, когда я подшустрил первым и врезал этому амбалу три, ешь-то, раза, а он стоял как стоял, хоть бы хны, и разглядывал меня точно какого-нибудь зачуханного недомерка.

А потом уже Лайонси мне врезал.

– ДЕЕЕЕЙВ! ДЕЕЕЕЙВ! – от ее воплей щас окна вылетят, точно. НЕ УХОДИ, НЕ УХОДИ ОПЯТЬ, У НАС ЕЩЕ ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ, ОЙ, ДЕЙВ... ОЙ, ДЕЕЕЕЙВ!

Она ржет, ровно племенной жеребец, и прет на меня снизу, и льнет всеми стенками дырки, и когда она затихает, я, весь изнутри омертвевший, вынимаю из нее все такой же твердый, как болт, пора делать ноги от чертовой Вши, потому что, если я не сделаю ноги, я за себя не отвечаю. Одеваюсь, а она лыбится как идиотка и вкручивает мне, что меня никто никогда не привяжет к подолу, и, говорит она, если в молодости я из-за этого ходил самым крутым, то теперь из-за этого же самого сделался бестолковым развесистым овощем, на котором только ленивый язык не оттянет.

– Лады, – говорю я ей, сматывая удочки к машине; одна незадача – нет настроения возиться с дурацким пацаном. Только не теперь, не теперь, когда чертова Вша все испохабила. Я забрасываю его к сестре; ему там будет лучше, с ее малышкой поиграет, Правду сказать, я не большой любитель детей.

Возвращаюсь к себе и вытаскиваю «Плейбой» с этой шлюхой Опал Ронсон, девушкой месяца. Развороты я выдираю и прикрепляю магнитиками на холодильнике. Не то чтоб я постоянный покупатель порно, только если вижу, что какая-нибудь модель шире прочих разевает своего котеночка. Клево увидеть звезду во всех укромностях, будто она твоя подружка. Это срывает с них мифологический, ешь-то, флер, приближает их к твоим конкретным нуждам. В холодильнике припасена свежая дыня, и я уже вырезал в ней три дырки по длине и ширине моего стоячего, две с одного конца и одну с другого – это у Опал будут щелочку, попочка и ротик. Ротик я подвожу губной помадой. Остальные дырочки промазываю кремом «Понз» для рук, и мы стартуем... куда ты, ешь-то, желаешь, девочка: в глотку, или в жопку, или в кошечку... я впериваюсь в фото Опал на дверце холодильника, она выгнула спину и шепчет мне что-то неразборчивое, не пойму, в кошечку или в жопку, и из глубины ее темных зрачков всплывает этакое подмигивание, что Опал-де, может, и не та птичка, чтоб дать клиенту в первый же раз, я вспоминаю ее в «Любовных соблазнах»... ууух... зато потом в «Параноике», именно в «Параноике»; но затем я думаю: да все по барабану, вдруг девочка в жизни не сношалась с истинным асом, и кабы истинный ас... ааа, щас я тебя, радость, расщеплю надвое... аааа...

ХАААААХ!

Голова кружится и кружится, семя высаживается и высаживается в дыню. Пара несуществующих секунд в будуарчике Опал – и я готов. Да благословит тебя господь, девочка моя.

Я чуток кемарю на кушетке, а когда просыпаюсь, врубаю ящик, но глаза, ешь-то, не фокусируются. Раз десять выжимаю гантели, шупаю бицепсы. Резкость настроилась, но штормит еще вовсю, мускулы покачиваются, ровно бедра незанятых трансов в ночном клубе. Для восстановления сил мне нужен бифштекс. Вскоре я спускаюсь к «Безродному слепцу». Там ни души, я мотыляю в «Скорбящего Мориса». Все тут: Бэл, Ригси, Культяпый, Родж, Джон и так далее. Я принимаю пинту полусветлого горького, прошу повторить. Пойло удобоваримое, я только начинаю оттягиваться, как слышу гам в баре: – АААЙЙЙЙ!

Оборачиваюсь и вижу его. Этого убогого ублюдка, своего черепа. Полюбуйтесь: слез, ешь-то, с дерева и бузит. Убогий, ё: каким был, таким остался. За нами ж сейчас приглядывают как никогда, а он вот он, пожалста, явился. Бэл, Ригси и Культяпый, эти-то хмыри порадовались, когда я затрепыхался, еще б не порадовались.

– Добрень, мальчик мой! Угестишь своего старичка, а? А-а? – говорит. Набрался уже как свинья, тварь.

– Я тут собирался с ребятами поболтать, – объясняю ему. Он вылупляется, словно я жопа какая-нибудь. Затем подбоченивается: – Ах, поблтать, я че, должен...

– Вы ниче не должны, мистер Т. Сию секундочку, – говорит Бэд и наваливается на стойку. Приносит «черепу» двойной скоч и пинту пива.

– Вот это мужик, – кивает тот на Бэла. – Молодой Барри, как его... Барри Лич, вот это мужик! – Улыбается, уважительно чокается с Бэлом. Затем вдруг вылупляется на меня:

– Эй, шо у тэя с лицом!

Я уже только жду, что еще этот старый крендель выкинет.

– Шоутэяааа...

Долбаная, налитая пивом шотландская харя, кретинский, сиплый шотландский акцент; не отделаешься от них ни на минуту. Хоть бы он, на самом деле, умолк навеки.

– Отвянь! – грохаю я. Потому что «череп» одной рукой обнял за плечи меня, а другой – Бэла и Ригси. Я, по идее, обязан «черепу» внимать, ровно Иисусу какому-нибудь...

– От он, мой малыш. Жопа он сраная! ЖОПА ОН СРРРРАНАЯ! Но все еще мой малыш, – говорит он. И потом говорит: – Эй, малыш, денжат-то подкинь? Я скоро получу саи-идную смум... сумму, сын. Гаарили, тут заваруха намчается, и я огородами, огородами, дескать, попомнят мои зслуги и должным обрзом... пнмаешь, о чем я, Дэвид... а, сынуля?

Я вынимаю из кармана пачку десятков. Все что угодно, все что угодно, только б отделаться от хренова старого попрошайки.

– Ты, сынок, хороший. Хар-роший наследник Простинтов! – Озирается, закатывает рукав. – Моя кровь, – сообщает он Ригси, – кровь Простинтов.

– Бьюсь об заклад, она стопроцентная, мистер Т., – говорят Ригси, и Бэл, и Культяпый, и Родж, и Джонни, и прочие, у них всех есть повод оторваться, и у меня тоже, однако мне не по нутру, как смеется Ригси. Хмырь или не хмырь, речь тут о моем старике. Хоть минимум уважения ты должен же проявить?

– Такие дела, сын. Сто процентов Простинта! – говорит старый шут. Затем он, к счастью, оглядывается и видит другую такую же лысину, уткнувшуюся в стойку. – Пкдаю вас с лбовью, рбта. Там, на дргой строне, спрсите у мого лчшего дрга... что ж, не зрвайтесь, мальчики. Не куште дрг дрга! Ндеюсь, ваши дети прспеют в жзни. Вмнадо рзвить храктер для ба-альшой gry... для контор повсейблястрне... тих-ха! «Ребята Билли»... мы б показали вам, где раки зимуют... во де сизли пнаст... тьящему крутые парни... я гврю о «Ребятах Билли» нз Бриктинга, о настящих «Ребятах», а о ком же я тут гврю! Зпомните, друзья, вам сперва надо развить характер! Вам надо развить характер для большой игры!

– Это ведь тоже игра, мистер Т., – говорит Бэл.

Старый крендель вскакивает и приникает к такому же, как он, старому кренделю, чтоб поговорить.

– ХАРАКТЕР ДЛЯ БОЛЬШОЙ ИГРЫ! – вертится он и орет на все помещение.

Меня он уже совсем затрахал. Есть только одно место, куда можно завалиться в таком состоянии. Цепляюсь к Бэлу:

– Я бы прошвырнулся вдоль набережной, слышь. На автобусе до Лондонского моста, оттуда пешком по Тули-стрит, вдоль Джамайка-роуд, а потом домой на метро от Розерхита. Нас всего шестеро наберется.

Бэл улыбается:

– Я не прочь. Отделаться бы от остальных ублюдков.

Ригси пожимает плечами, пожимают плечами Культяпый и прочие. Они-то присоединятся, но без особого энтузиазма. А я – с особым. Наклоняю кружку, расслабляю пищевод, разом заглатываю пиво и рыгаю на всю катушку. Пора отчаливать.

## Торонто, 1967

Боб любовался младенцем на жениных руках. Мимолетно он вспомнил иную страну, иную жену, иного ребенка... ох, нет. Память умолкла, едва он погладил теплую румяную детскую щечку. Все то было давно, далеко. Было с вулвергемптонским Бобом Уортингтоном. А теперешний Боб Уортингтон обустроил себе новую жизнь в Торонто. Он провел в роддоме несколько часов, до утра, а затем, вымотанный, но довольный, поехал к себе, в отдаленный пригород. Все дома на его улице были разные на вид, не то что типовые кирпичные халабуды, среди которых он вырос, но странно, район все же производил впечатление некоего однообразия. Он припарковался на узкой асфальтированной дорожке у въезда в гараж.

При виде баскетбольной корзины, укрепленной над воротами гаража на стандартной высоте в десять футов, Боб представил, как его сын станет подрастать, и даже воочию увидел подростка, выпрыгивающего вверх, будто хариус, и забрасывающего мяч в корзину. Мальчик наверстает все то, что Бобу помешали сделать обстоятельства. У него будут все возможности. Завтра нужно опять

устраиваться на работу; сам себе не поможешь – никто не поможет. А сейчас он слишком издергался. Укладываясь, Боб молил Бога о крепком сне и о сновидениях, в которых отобразились бы сегодняшние чудесные события. Он надеялся, что бесы нынче не придут. По большому счету, он только на это и надеялся.

## Путевый конь

Сидим себе на стоянке в кузове фургончика. Никто к нам что-то не подваливает, зазря пилили в такую даль. Ну, думаю, если тут и дальше будет так же тускло, подзаправлюсь эксом и за милую душу замотылюсь внутрь, в свободный поиск. Бэл в тачке рядом с какими-то еще кренделями, вылезать оттуда не собирается. Ну, силком я его не поволоку, делать мне, что ли, больше нечего, тем паче что внутри коней как сельдей в бочке.

– На прошлой неделе в тот кабак столько всякого дерьма набилось, – говорит Культяпый.

– Ага, и я их всех от тебя оттаскивал, – говорю. – Не оттащил бы – крантец клиенту. Глава последняя, недописанная, ешь-то, так или нет?

– Да уж, меня там типа не слабо помяли. Слышь, хотя раз я как пошел пиндюрить их кружками, урр... всем, сукам, досталось, как стояли в кружок, так и отползли по одному.

– Этот жирный хрюндель бармен, – говорит Джонни, – выступал он порядочно.

– Угу, – подхватываю я, – выступал, пока я его не урыл железной табуреткой. Вот это было круто. Как сейчас вижу: лоб у этого сучонка чудесненько так хрясь – и всмятку.

Замечаю, что Культяпый шарит в пакете, пива ищет.

– Эй, Культяпый! А нам пивка, тварюга ты эдакая, – ору ему. Он протягивает банку. Пиво сорта «Мак-Ивенс».

– Моча шотландская, – говорит он и спохватывается: – Извини, друг, из головы вон.

– Ничего, мне по фигу.

– Понимаешь, ты ж не такой, как все эти поганые настоящие шотландцы. Ну вот возьми моего старика, он ирландец по национальности, а старуха полька. Это ведь не значит, что я поляк вонючий, не значит?

Я пожимаю плечами: – Все мы полукровки недоделанные, друг.

– Ну да, – не отступает Культяпый, – но зато мы все белые, нет разве? Расовая чистота и так далее.

– Да, пожалуй, тут ты в точку попал, друг, – говорю.

– То есть я ж не к тому, что Гитлер делал все правильно, ты не думай. Он же не виноват, что не англичанином родился.

– Да уж, Гитлер был тот еще дровича, – говорю я ему, – две мировые войны и один мировой кубок, друг. Всё выиграли пурпурно-синие.

Культяпый начинает петь. Жаль, некому заткнуть ему пасть еще до того, как он вспомнит какую-нибудь старую уэстхемпширскую кричалку.

– Пурпурно-синий в высшей лиге нав-сег-да, пурпурно-синий не загнется ни-ког-да... В фургончик лезет Ригси, сзади топчутся Бэл и этот хрен Роджер.

– Пошли внутрь, обалдуи, – зовет Ригси. – Там полный улет! Чесслово, музыка такая, что мурашки по коже поднимают!

– Объяснить тебе, от чего у меня обычно по коже подирает? – спрашиваю.

– От волынщиков, – встречает Культяпый.

– Ну нет. Тут крутятся разные суки, и они явно не из конторы, – объясняю я Ригси. Бэл говорит:

– Да, ты миллиард раз прав, Торни.

Внутри тусуется хмырь со шрамом на физии. Это известие заставляет Ригси встряхнуться.

– До него легко докопаться, до болвана сучьего. Эти приглашенные фраера, крутые хмыри с полным карманом таблеток, они просто за задницу его выкручивают. Неудивительно, что мы не можем выбить из них даже парацетамол или активированный уголь, когда припрет.

– Да проблема не в хмыре, – выпаливает Риггой. – Дело в том, что всякий раздолбай, являясь сюда, числит себя основным.

Он дает Балу таблетку: – На-ка, попробуй.

– Вали отсель, – хрипит Бэл. Ему все еще не по кайфу. Хер с ним, я глотаю экси, вхожу вместе с Ригси внутрь. Культяпому все уже по барабану, и он хилает за нами. Оглядевшись, я фиксирую стадо

коней, которые жмутся к стенке. От одной из них глаз не могу оторвать. Меня как шандарахнули, точно в штанах башня, но вдруг я понимаю" что перекрыл свои грошовые возможности и обязан выслушивать чье-то вяканье.

– На что ты, елкин сад, так зыришь, а?

Выкрутилась вперед и вопит мне в морду. Я вообще на коней не гляжу в упор. То есть, насколько я секу жизнь, глядеть или не глядеть – вопрос воспитания. Культяпый, этот просто запугивает какую-нибудь дорис. Смотрит на нее в упор, они, видимо, считают, что их сейчас насилуют или что-нибудь там еще. Я его от таких повадок отговаривал. «Ты, ешь-то, не смотри на коня в упор, – втолковывал я ему. – Коли желаешь играть в гляделки, отправляйся на Олд-Кент-роуд и пучься на какого-нибудь тамошнего милуоллского кренделя. А с птичками обходись уважительно, – твердил я ему. – Представь, что какой-нито секс-маньяк или же потрошитель смотрит на твою сестричку, как ты на них смотришь». Но вот он я, вылутился на девушку. И не оттого, что она такая смазливая, хотя она ж и смазливая, она вообще изумительная. Это оттого, что я принял экстази и смотрю на девушку, у которой вообще нет рук.

– Тебя по телику не показывали? – это все, что я мог выдумать.

– Нет, меня не показывали по телику, и в цирке, блин, тоже.

– Да я и не...

– Ну, скачивай давай, – бортует она меня и отворачивается. Ее подружка обнимает ее за плечи. Я стою на месте точно ушибленный баклажан. То есть мало кто позарился бы на блядь, у которой есть только рот, этот вопрос не обсуждается, а как насчет девушки, у которой, раздери ее, нет рук?

– Алло, Дейв, ты ж не позволишь какому-то недоделанному коню так тебя бортовать? – лыбится Культяпый своими гнилыми зубами. Зубами, которые запростак выбить.

– Заткни пасть, дрович херов, или я сам тебе ее заткну.

Без вариантов, я запал на этого коника; на безрукую, ешь, красулю, на прочерк в телефонной книжке, я запал. Подружка подваливает ко мне, вдобавок ко всем зырящим, ко всей этой швали, напичканной эксом по горлышко. – Ты прости, что она такая. Кислоты перебрала.

– А что тогда у нее с руками? – Я не должен был это спрашивать, но подчас вопрос сам вырывается у тебя изнутри. – Ты не дергайся особо, честно скажи, – предлагаю я.

– Теназадрин. Впитываешь?

Культяпый и в этот разговор, жопа, влез:

– Наименее привлекательный, ёш, в мире наркотик: теназадриновые ручки.

– Заткни хлебало! – гавкаю я на раздолбая, и он сечет, что у меня за физиономия, и трусит. Друг или не друг, эта сука откровенно напрашивается на хорошую плюху. Оборачиваюсь к дорис: – Передай своей подружке, я не хотел ее обидеть. Та мне улыбается: – Поди сам ей скажи. Тут я вроде бы тушуюсь, потому что перед девушкой, которая мне по-настоящему нравится, я чувствую некий трепет. Мы щас не о проשמандовках, те-то за десятку готовы, но перед девушкой, которая мне нравится, я, честно, другой. Впрочем, экстази помогает, и я подваливаю с новой стороны. – Слышь, извини, что я так на тебя вылутился, и вообще.

– Я к этому привыкла, – говорит она.

– Обычно я на людей не вылуплююсь...

– Только на тех, у кого нет рук.

– Проблема не в руках... просто у меня был хороший приход после экса, и я поймал такой... а ты... ты была такая красивая, и я просто подобрал твою милоту... меня, кстати, Дейв зовут.

– Саманта. Не смей называть меня Сэм. Не смей. Меня зовут Саманта, – говорит она, чуть ли не улыбаясь. «Чуть ли не» – это для меня больше чем надо.

– Саманта, – повторяю я, – ты тоже никогда не называй меня Дэвидом. Я Дейв.

Тут она хихикает, и что-то переворачивается у меня внутри. Эта дорис – белая, ешь-то, капсулка, напиханная самой большой порцией МДМА, какую я заглатывал за мою траханую жизнь.

## Лондон, 1979

Она сидела в безликом фаст-фуде на Оксфорд-стрит над шоколадным коктейлем, потягивая приторную жидкость через соломинку. Хорошо было съездить в город на метро. Квартира, где она на птичьих правах жила, ей обрыдла; там недавно обосновалась шобла молодых шотландцев, которые в основном хлестали сидр и с беспочвенным догматизмом обсуждали сравнительные достоинства рок-

групп, от коих тащились. В такую жару лучше б махнуть в Уэст-Энд, но в черепе у нее было пусто и скользко, как на вечеринке опиоманов, куда случайно вперся незванный клиент, с завиральными идеями притом. Ей не хотелось очередного сейшна, очередного бэнда, очередных рож, очередного траха; очередного механического, безлюбого траха. Она сжала мышцы влагалища и покорно содрогнулась всем телом. В приливе самобичевания переключилась со своих гадких мыслей на мещан, толкущихся в до смешного заполненном кафе. И как раз в этот миг ощутила на себе его взгляд.

Она понятия не имела, сколько времени он уже на нее смотрел. Сначала она заметила его улыбку, но из принципа не подумала улыбнуться в ответ. Еще один клеиться, блин, собрался. Те, кто жаждал обсосать с ней ее неполноценность, были, как правило, хуже всех. Выискался как-то старый хрен, убеждавший ее, что он англиканский священник. На сей раз ей подобной туфты не надо. Едва он подошел и сел напротив, ее ошеломило знакомое чувство родства. Братец панк. Рыжие волосы, кожаная куртка, сколотая безопасными булавками в самых невообразимых местах. Выглядел он как-им-то дистиллированным: чересчур кондовый, чересчур выделанный. Сплошной пластик.

– Ничего, я приземлюсь тут? – Выговор иностранный, похоже, немецкий. Саманта обратила внимание на выговор, обратила внимание на одежду. Пока куртка висела у него на плечах, ей и невдомек было, что они с ним похожи больше, чем ей сперва представлялось.

– Меня зовут Андреас. Я бы пожал тебе руку, – засмеялся он, – но как-то не думаю, чтоб ты меня правильно поняла.

Он сбросил куртку, дабы продемонстрировать растущие из плеч плавники – такие же, как у нее. – А может, – он улыбнулся, – вместо этого поцелуемся?

Саманта произвольно скрежетнула зубами, но она догадывалась, что эта реакция едва ли пересилит другую: дурнотный, истеричный, расслабляющий приступ тотальной приязни.

– Жопу мою поцелуй, – отрезала она в панковской фирменной манере. Фраза вышла такой же аляповатой, как Андреасов прикид.

– Что ж, печально, – сказал Андреас; он и впрямь казался печальным. – Я смотрю, ты девушка злая, да?

– Чего-чего? – эта настырность ее и угнетала, и заводила.

– Я так и думал. Это нормально. Нормально быть злой. Но когда злость касается всего, это уже извращение, да? Извращение характера. Мне-то уж поверь. Но умные люди говорят: не злись, а взвешивай. Слыхала?

– Угу.

Раньше Саманта уже встречала теназдриновых детей. Такие встречи всегда оборачивались порядочной встряской. Главная тема для общего разговора – их ненормальность – просто гипнотизировала. Притвориться, что ее нет, но именно что притвориться? Грозовой тучей тема нависала над любой ни к чему не обязывающей болтовней. Более того: какая-то часть ее существа презирала собственных товарищей по несчастью. Глядя на них, она создавала, как сама выглядит, как ее воспринимают остальные, обычные. Как человека с Недостатком; с недостатком рук. А коль уж на тебя наклеят ярлык «с недостатком», его пытаются распространить на все сферы личности: на интеллект, на судьбу, перспективы. Хотя вот Андреас ни капельки не казался рохлей, не вызывал омерзения. На вид он был полноценен, несмотря на физические данные. От него исходил один лишь поразительный переизбыток существования; она чувствовала ток основательности, окутывающий его. Она училась маскировать свои страхи смехом, а он, как ей тогда представилось, заставлял жизнь плясать под заказанную им музыку.

– Пойдешь вечером в «Вортекс»?

– Может, и пойду, – выговорили ее губы. Она не любила «Вортекс», терпеть не могла тамошнюю тусовку. Она даже не знала, кто там сегодня играет.

– Играют «999». Группа отвратная, но все они на одну колодку, коли наглотаешься амфа и пива, а?

– А-а, ну да.

– Меня зовут Андреас.

– Ага, – скомканно ответила она, а затем, чтобы слегка опустить его брови, ибо с поднятыми он смотрелся чуть-чуть экзотично: – Сэм. Только не Саманта, договорились? Сэм.

– Саманта лучше. Сэм – имя для мужчины, а не для симпатичной девушки. Никому не позволяй сокращать себя, Саманта. Не позволяй больше себя сокращать.

К ее горлу подкатил комочек ярости. За кого он себя держит? Только она раскрыла рот, он ска-

зал:

– Саманта... ты просто красотка. Увидимся в «Корабле» на Уорддор-стрит в восемь вечера. Увидимся?

– Да, наверно, может быть, – сказала Саманта, понимая, что придет в «Корабль».

Она посмотрела ему в глаза. Глаза были сильные и жаркие. Вдруг ей подумалось, что по сравнению с его рыжей шевелюрой, они до коллик синие.

– Ты чего, в зоопарке подхалтуриваешь или где? На хрена тебе этот фламинговый хохолок на макушке?

Андреас принял загадочный вид. Саманте на миг почудилось, что она лицезреет некую ипостась карающего ангела, но затем физиономия Андреаса стала настолько невыразительной, что, скорее всего, то была иллюзия.

– Да-да... фламинго. Саманта сострила, сострила, да?

– У тебя с юмором проблемы или как, вообще?

– Молода ты слишком, Саманта, слишком молода, – констатировал Андреас.

– Ты что, припух? Нам лет одинаково. Ну, пара недель разница.

– Да и я слишком молод. Впрочем, настоящий-то возраст – внутри.

Она едва не рухнула вновь в средоточие своей злобы, но Андреас уже поднимался.

– Пока. Но сперва я тебя поцелую, ладно?

Саманта застыла. Он наклонился и поцеловал ее в губы. Это был нежный поцелуй. Он на секунду задержал губы, и она нехотя, на пробу ответила. Затем он отстранился.

– В восемь, да?

– Да, – ответила она, и он ушел. Она осталась одна, и это одиночество ранило. Она знала, что думают вокруг: двое теназадриновых поцеловались. Ладно, решила Саманта, по крайней мере он не разевает рот на мою пенсию по инвалидности.

Она ушла вскоре после него, бесцельно прогулялась по Чаринг-кросс-роуд, срезала угол до Сохо-сквер, позагорала там среди чиновников. Потом поболталась по переулкам Сохо, дважды прошла по Карнаби-стрит, пока не успокоилась и не села в метро до станции «Шепардс-Буш», где делила жилплощадь с компанией юных отбросов, чьи персоны непрестанно менялись. На кухне болезненно худой, рыжий маловозрастный доходяга с гнойными прыщами по имени Марк жрал бекон, яичницу и бобы прямо со сковородки.

– Вспутем, Саманта? – ухмыльнулся он. – Амфтик личцо дай, а?

– Нет у меня, – грубо сказала она.

– Мэтти-Спада не бут до вечера. Я ужстра ломаюсь. Ночку, бл, закатали, бл. Звтрку один, как... Хавать хошь? – он кивнул на жаровню, на глазах заплывавшее жиром.

– Нет... нет, спасибо, Марк, – Саманта выдавила улыбку.

Прыщи, казалось, высыпают на ее собственных щеках просто потому, что она очутилась в непосредственной близости от Марковой сковородки. Вселившимся шотландцам было всего по шестнадцать, но они были карой божьей: нечистые, шумные и ничего не смыслящие в музыке. Они отличались дружелюбием; к сожалению, чрезмерным: подкрадывались и дышали в спину, как стая игривых щенят. Она отправилась в комнату, которую делила с двумя другими девушками, Джулией и Линдой, включила черно-белый телевизор и то и дело посматривала на часы, чтобы выйти вовремя.

В «Корабль» она опоздала на десять минут. Он уже сидел там, в углу. Она подошла к бару и заказала себе кружку сидра. Потом уселась сбоку от него. Путь до столика показался ей бесконечным, и вроде бы все посетители паба на нее пялились. Странно, что, после того как они обменялись улыбками и она нервно оглянулась, никто, оказалось, даже не смотрел в их сторону. Они крепко выпили, а у Саманты еще и отыскался косячок, хотя она и соврала шотландцу Марку, что косячка у нее нет. Вечер в дискотеке, бэнд, усилители живого звука, в такт которым Андреас и Саманта непроизвольно покачивались. Саманта почувствовала ту свободу от каких бы то ни было запретов, которой не ведала до сих пор. Эта свобода была сильнее воздействия алкоголя и наркотиков; к ней причастен был именно Андреас и его расковывающая, заразительная основательность, его воодушевление. Она понимала, что уйдет с ним. Ей не хотелось с ним расставаться, и она пошла сама, по собственной инициативе. На шоссе Саманте показалось, что раю конец: дорогу заступили трое пьяных, посвистывающих скинхедов.

– Труппа уродов, мать их! – крикнул один.

– Пушай проходят, – сказал другой, – руки только марать. Ты вспомни, кто ты и кто они.

– А у нее сиськи разлапистые! Дай, красуля, подержаться! – и первый молокосос рыпнулся к Саманте.

– Отваливай! – завизжала та.

А потом Андреас заслонил ее, перегораживая ему дорогу. На харе бритоголового попеременно отразились выжидание, замешательство, а затем, в несколько судьбоносных секунд, осознание вероятных и крупных событий, не зависящих ни от его расчетов, ни от его воли.

– Освободи, ё, дорогу, ты, урод! – прошипел он Андреасу.

– Отойди, – сказала Саманта, – я за себя сама постою!

Андреас, однако, не двигался. Его зрачки вспыхнули. Он мерно скрежетал челюстями. Мнилось, он почти наслаждается всем этим безобразием; он полностью держит себя в руках. Говорить он, похоже, не больно-то и спешил, но все же заговорил – медлительным, официальным тоном:

– Оставь нас в покое, иначе я выкушу твою сраную харю. Понял, нет? Лица у тебя не станет.

Он не отводил взгляда. Глаза юнца с бритым черепом заслезились, потом забегали. Он принялся орать, но, казалось, лишь отчасти сознавал, что, крича, постепенно ретируется.

– Лады, Тони, лады, хер с этим уродским фрицем, давай выбираться, пока мусора не подвалили, – твердил его приятель. И подобную обидную пургу они, отступая, ныли, но уже в паническом, подчеркнуто подвывающем стиле униженных и оскорбленных. На Саманту это произвело впечатление. То есть Саманта изо всех сил старалась, чтоб не произвело, но тем сильнее оказывалось впечатление, производимое на нее этим немцем.

– Ну, ты чумной.

Андреас склонил голову набок. Постучал псевдопальцем псевдоруки по виску. – Я не драчун. Далеко достать не могу, – улыбка, – и потому мозг – моя главная арена. В мозгу я выигрываю и проигрываю сражения. Подчас получается, а иногда... не так чтобы очень, знаешь ли. – Он покачал головой и улыбнулся: се ля ви.

– Положим, но ты и впрямь отшил этих вырожденков, – сказала Саманта. Которая понимала, что бритоголовые – далеко не единственные психи в окрестностях. Которая понимала, что втюрилась в Андреаса.

## Трепливые твари

Мы разговаривали весь вечер, просто, ешь твою, разговаривали. Я никогда на такую катушку не выкладывался, ни с каким конем, во всяком случае. Сволочизм в том, что мне ни разу не было не по себе. Как будто не с конем разговариваешь, не с конем в привычном смысле, например. Я рассказывал о себе, о Бэле и мехмастерских; о маме и старом попрыгунчике; о Вше и маленьком; но в основном о конторе, о махаловках, в которых мы побывали, и о тех, в которых собирались побывать, и о том, как я думаю обработать этого Лайонси из «Милуолла». Как я его собираюсь урыть.

При этом я не мог оторвать глаз от ее лица, как пидор какой-нибудь: «Ничего, если я потрогаю твою щеку», – просил я ее. «Ничего», – говорила она. И у меня не было мочи перестать трогать ее щеку. Мне, в общем, ничего больше не было надо, разве что коснуться ее чуть-чуть ниже. Не то чтоб пощупать или что там другое, а просто побыть с ней рядом. Я мечтал о громадном, что ли, доме для увечных, где мы остались бы вдвоем. То есть хочу сказать, я в нее типа того что влюбился.

Когда музыку вырубili, мне пришлось пригласить ее прошвырнуться. Самое в ней странное было то, что ей было любопытно все – все, что касалось меня. Даже в те минуты, когда я рассказывал ей о разных махаловках и так далее, ей было вроде любопытно.

Я позаимствовал тачку у одного из знакомых мусоров, мы поехали в Борнмут и провели целый день вместе. До того я никогда так себя не чувствовал. Я чувствовал себя кем-то другим. Кем-то иным.

Потом я очутился в кафешке, морду, как учили, держу лопатой, и едва мы вышли, наткнулись на троих хмырей, которые стояли, лупились и хмыкали на Саманту. На мою Саманту.

– Куда вы, бля, смотрите? – спрашиваю.

Один из хмырей, его щас раздерет от самоуверенности: – Никуда.

– Прекрати, Дейв, – говорит Саманта, – они ж ничего не делают.

– Эй, а какие у вас вопросы? – спрашивает вторая сука, явно трепливая.

Ну, подобное обхождение я терпеть не намерен. В такие минуты я всегда вспоминаю старые фильмы с Брюсом Ли. Вся эта кун-фу – хрень собачья, но у Брюса Ли там была одна реплика, кото-



рая помогает мне в самых херовых переделках. Он там говорит: «Вы ублюдка кулаком не угробите, зато вы его кулаком проткнете». Так вот эта трепливая тварь – у меня в глазах только кирпичная стена вокруг его рожи. До нее-то я и добирался, ее-то и хотел прошибить.

Потом я осознал, что стою напротив остальных хмырей, а того уже нет в поле зрения, и спрашиваю: – Кто на новенького?

Те замерли, осматривая эту жопу на полу, о которой не скажешь ничего хорошего. Пара любопытствующих зевак тоже впиндюрили туда свои рыла, и я решил податься обратно в Лонд, тем более что Саманта жила в Ислингтоне, рукой подать, от чего я просто тащусь.

Впрочем, неинтересный инцидент у кафе полностью запорол наш вечер.

– Зачем ты это? – спросила она меня в тачке, когда мы уже выезжали на двухрядку. Нет, она не казалась чересчур сердитой, скорее удивленной. Она такая красивая, что в голове не помещается. Я еле-еле следил за дорогой. Мнилось, пока я гляжу ей в рожу, теряю время.

– Они куражились, не выказывали тебе должного уважения.

– А это для тебя играет роль: не презирают ли меня, не оскорбляют ли?

– Для меня это играет большую роль, чем что-нибудь еще, – говорю ей. – Я никогда ничего подобного не чувствовал.

Она на меня смотрит как бы, по всему судя, задумчиво, но не говорит ни слова. Чересчур я, ешь-то, развязал язык. Таблетки, таблетки, знаю, однако они работают внутри, я ж контролирую свой язык снаружи. Мы едем туда, где она живет. Мне немного неловко, потому что на стене висит ее фотка вместе с ее хмырем. Они там моложе. Суть в том, что он такой же, как она, без рук.

– Так это твой приятель? – спрашиваю. Не могу не спросить.

Хохочет мне в лицо.

– Раз у него нет рук, он должен быть моим приятелем?

– Нет, я не хотел сказать, что...

– Это просто мой знакомый немец, – говорит она.

– Чертов фриц. Две мировые войны и один мировой кубок, сучка. Так он что – твой приятель?

– Да нет, нет. Хороший знакомый, вот и все.

У меня щиплет в глотке, я готов обнять говняного фрица. То бишь несчастного хмырька такого, безрукого, толку-то от него сейчас, ешь-то, а? И мы говорим еще, и Саманта мне кое-что рассказывает. Кое-что о том, что с ней было. Кое-что, из-за чего, ешь-то, у меня вся кровь вскипает.

## Нью-Йорк, 1982

Брюс Стерджесс добился всего, чего хотел, а именно шикарного офиса в центре Манхэттена. Недоставало избавиться от ряда царапающих, навязчивых воспоминаний.

Он подошел к северному окну, откуда открывался очаровательный вид на Сентрал-парк. Великолепные небоскребы Крайслера и Эмпайр-стейт-билдинг высились над головой, с пренебрежением глядя на его солидный этаж, как вышибалы в дорогом казино. Всегда находятся те, кто глядит на тебя сверху вниз, горько улыбнулся он, как бы высоко ты ни забрался. Эти постройки – суперкласс, особенно крайслеровское ар-деко. Он вспомнил, как в «Ночи в городе» Фрэнк Синатра и Джин Келли увешали весь центр театральной бутафорией. Свобода в миниатюре – вот чем был для него Нью-Йорк. Свобода, конечно, оказалась стандартной и предсказуемой, но, увы, не лживой, не лживой. По крайней мере, величие городского ландшафта так и не смогло перевесить образы неправильно скроенных детских тел, что жгли череп изнутри. Его черная полоса. Пришлось набрать лондонский номер Барни Драйсдейла. В подобные минуты сам тембр голоса Барни, его беспечный, грубоватый оптимизм приводили Брюса в чувство. Барни Драйсдейл, упаковывающийся у себя на квартире в Холленд-парке, меньше всего на свете желал подходить к телефону.

– Еще что? – озабоченно простонал он. Барни собирался отбыть на длительный уик-энд в свой валлийский коттедж и расчистить место для почти безвыездного месячного пребывания там всей семьи. – Алло...

– Старик! – чуть ли не издевательски воззвал Брюс.

– Брюс! – расхохотался Барни, мгновенно развеселившись при звуке приятельского голоса. – Чертяка! Как ты там с янки ладишь?

Стерджесс выдал пару-тройку расхожих пошлостей. До чего приятно снова услышать Барни. Тон его чуть, но разве что чуть заглодел, когда речь зашла о жене Филиппе и мальчиках. Он не под-

держивает с ней отношений. Мальчики хорошо устроены, где-то там на Лонг-Айленде, но Филиппа терпеть не может Америку. Рейды по торговым залам Блумингсдейла и Мейси не смогли смягчить зарождающегося в ее сердце разочарования. Зато Стерджесс обожал Нью-Йорк. Обожал свое инкогнито человека, который пока не познакомился со всеми теми, с кем должен был. Ему нравились ночные клубы. Он вспомнил мальчика, которого поймел прошлой ночью в туалете восхитительно похабного заведения в Ист-Виллидж...

– Ты позвонил в самое неудобное время, старина, – извинился Барни. – Я как раз собираюсь оттянуться на природе до понедельника.

То же самое, расплылся Стерджесс, почесывая промежность и озирая из окна офиса небоскрежный горизонт Манхэттена, собираюсь сделать и я.

– Роскошная перспектива, – сказал он.

«Роскошная перспектива», – подумал он. Но в глубине души его что-то смущало. Чужие уродства и фиксация на мальчиках: контролируй себя. Так недолго и разрушить все, чего таким потом добивался. Полезно было поболтать с Барни. Слава богу, что на свете есть Барни.

## Несправедливость

Мы видимся с Самантой чаще и чаще. Главное дело, я ее не трогаю. Хорошо б достичь того уровня, на каком я сравниваю с ней. Точно меня колышет, что у нее нет рук. Когда мы вместе, мы попросту разговариваем, но штука в том, что меня не устраивает, о чем. Она твердит о своих руках и о хмырях, которые продавали фигню, лишившую ее этих самых рук. Меня все это достало: я просто хочу смотреть на нее.

Проблема в том, что я мало что могу с этим поделать, потому что меня на самом-то деле ничто не волнует, кроме как быть с ней.

– Ты глядишь на меня и хочешь со мной спать. Ты хочешь меня трахнуть, – говорит она. Подобные вещи она высказывает попросту, с бухты-барахты.

– Ну и что, если я тебя трахну? Это законом запрещено, что ли? Нет такого закона, чтоб нельзя было хотеть кого-нибудь, – говорю ей. Тут я слегка струхнул: дело-то ведь у меня дома и она не иначе как лазила в холодильник. Надеюсь, не обнаружила ни дыню, ни крем. Слава яйцам, я успел снять Опал с холодильника.

– Ты не сечешь, что это для меня значит. Уродка, неполноценная баба. У меня отняли нечто важное. Я неполная, и пускай они за это расплатятся. Не горсткой долларов в банке: я хочу справедливости. Я хочу Брюса Стерджесса, мудака, который распространял этот препарат на нашем рынке, который обкорнал нас.

– Ты хочешь, чтоб я помог тебе припугнуть этого кренделя Стерджесса? Лады, я согласен.

– Не понимаешь ни фига! Мне не надо, чтоб ты его урыл. Он тебе не какой-нибудь хмырь, который тащится от футбола или въезжает в пабе за углом. Не надо мне, чтоб его пугали! Мне нужны его руки. Мне нужны его отпиленные предплечья. Мне нужно, чтоб он понял, каково это!

– У тебя же не хватит... ты ведь не всерьез это...

– А что стряслось, конторский? у тебя запал протух? – подкалывает она, и лицо ее меняется, и выворачивается все, точно не она передо мной.

– Нет, я просто...

– Я достану этого поганого ублюдка с твоей помощью или без нее. Мне хочется, чтоб эта сука впитала, каково быть уродом. Он изменил меня во чреве матери. А я хочу его изменить. Ясно? Деньги их траханные мне не нужны. Я хочу забрать у них то, что они забрали у меня, и чтоб они поняли, понадобятся или не понадобятся им после этого их говняные деньги. Я хочу, чтоб они поняли, как это бывает, когда кто-то неизвестный кромсает тебя, чтоб они ощутили, как тебя трансформируют... как отнимают твою ячейку в этом мире. Выродки вроде него все время этим занимаются: отнимают рабочие места, дома, жизни, все из-за их хитрой стратегии, и не чувствуют разрухи, которую приносят людям, не находят времени почуять. Я хочу, чтоб он это увидел, и еще я хочу, чтоб он это ощутил. Хочу, чтоб он ощутил, как это – быть уродом.

– Ты не уродка! Ты изумительная! Я тебя люблю!

Ее лицо раскрывается, как ни разу до, как будто она чувствует то же, что я.

– Тебе когда-нибудь ногами делали? – спрашивает она.

## Пембрукшир, 1982

Всякий раз, когда Барни Драйсдейл терзал и насиловал свой старый «лендровер», понуждая его взбираться по крутой дороге к коттеджу, он ощущал, как на него нисходит спокойствие. Выходя из машины, он оглядел строение из древнего камня, глотнул свежего воздуха и окинул взглядом простор вокруг. Лишь холмы, источники, пара фермерских хозяйств, стада овец. И ему это было по нутру.

Завтра у него будет компания – из Лондона приедут Бет и Джиллиан. Так было заведено в семье: Барни приезжал первым, «затопить камелек», как он всегда говорил. Обожал осматривать участок в одиночку, отмечая свой вклад в усовершенствование поместья. На самом-то деле усовершенствования были заслугой рабочих, которые превратили беспризорную каменную руину в дом его мечты. Барни озирает участок, распределял фронт работ, грозился, дулся, примеривался к мотыге, но так и не завоевал среди рабочих доверия – даже если привозил немереное количество пива или настаивал, чтоб они закончили сегодня пораньше и отправились в сельский паб. Он считал местных чересчур квелыми и зачуханными. Не соображая, что если их кто и зачуhal, так именно он. Когда он заходил в паб, они, один за другим, увивали домой под разными предложениями. А потом звонили бармену и спрашивались, не отвалил ли еще Барни, а если отвалил, возвращались продолжать попойку без него.

В коттедже царила холодная сырость, и Барни решил зажечь уголь в камине. Минут тридцать он тянул волюнку, шатался по комнатам, но тут сгустилась ночь. Барни отправился за порцией топлива наружу, в угольный сарай, каковой пребывал в полнейшей темноте, никак не освещаясь светом окон. Он наслаждался прогулкой сквозь тьму, ощущая дуновение ночной свежести на коже.

Едва его осторожные шаги захрустели по гравийной тропинке, Барни почудился шум вроде кашля. В животе его затвердел страх, но звук был слишком далек, и Барни сам посмеялся своей нервозности. Он захватил для очага уголь и поленья. К своей досаде, Барни обнаружил, что у него нет растопки. Сельский магазин в этот час, судя по всему, был уже на запоре.

– Проблем-то куча, – сказал он. Он накомкал в камине газет, напихал туда щепок и угольной крошки. Труд был долгий, требовал терпенья, но огонь в итоге занялся весьма и весьма неплохо. Некоторое время он посидел у очага, затем, не находя себе места, отправился в деревню и опрокинул пару стопок в тамошнем пабе, перелопачивая «Телеграф». К его громадному сожалению, в пивной он не застал никого из знакомых: ни местных рабочих, ни наемных со стороны. Осознав, что в здешних краях уделом ему будет лишь меланхолическое одиночество джентльмена, он направился домой. Дома Барни опустился в кресло перед камином: телесериал, рюмка портвейна и пара ломтиков стилтонского сыра. От горелки бойлер работал безупречно, дом нагревался; Барни стал задремывать и отправился на боковую.

Тем временем кто-то вошел на первый этаж. Силуэт двигался в полной темноте с изумительной грацией и оглядкой. С плеча фигуры, где должна была бы находиться рука, свисала большая канистра. Содержимое канистры предназначалось для того, чтобы пропитать ковры и шторы керосином. Снаружи некто держал в зубах кисть. С невероятной быстротой и ловкостью, отклоняя голову то вперед, то назад, темная фигура выводила на стене коттеджа: CYMRU!RCYMRU LLOEGR!RMOCH

## Священные коровы

Мы пригоняем грузовичок в Ромфорд, к дому того безмозглого пня, у дверей которого притулился дряхлый «астон-мартин».

– Полста, мужик, и он твой, – говорит этот глупый крендель. – Я ему цену знаю, не сомневайся. Я столько труда в него вложил, еще пара ударов, и он поедет. Меня от него уже мутит просто, иначе черта с два б я его продал.

Заглядываю под капот. Навскидку не так уж плохо. Бэл тоже смотрит и качает головой: – Не-е-е... это ж рухлядь, мужик. За десятку мы, так и быть, возьмемся отвезти его в металлолом.

– Не свисти. Я кучу бабок за эту машину отдал. А потом еще столько же в ремонт вложил, – говорит пенек.

– Да чтоб привести ее хоть в какой-то порядок, потребуется две сотни минимум, Во-первых, сцепление на выброс, сразу видно. Охота тебе бабки на ветер кидать.

– Как насчет сорока? – уступает он.

– Мы деловые люди, мужик. У нас каждый фунт на учете, – пожимает плечами Бэл.

«Харя» чешет в затылке и соглашается на десятку. Ничего, я эту красулю мигом на колеса поставлю. Цепляем ее к грузовичку и тащим в наши мехмастерские.

Вообще, это заброшенное место нагоняет на меня жуткую тоску. Особенно тяжело находиться здесь в такой вот жаркий летний день, как сегодня. Думаю, потому, что солнце и до крыши не дотягивается, вокруг понатыкано небоскребов. Внутри не бывает дневного света, наяривают пыльные лампы. Когда-нибудь я, клянусь, не выдержу и продырявлю, ешь-то, крышу, чтоб хоть кусочек неба был виден. От калорифера несет керосином, от разбросанных деталей – машинным маслом, короче, запашок тот еще, наваристый. Кроме того, там воцарился какой-то непоправимый бардак. Железяки вперемешку валяются и на полу, и на громадном столе. Потом высоченная дверь на направляющих, от которых отвалился шкворень. Приходится запирать эту сволочь на висячий замок. По утрам я до белого каления дохожу, ковыряясь ключом в скважине.

А Бэлу здесь нравится. Наташил всяких долбанных инструментов, даже ту бензопилу, которой орудовал прошлой зимой, когда для приработка валил деревья в Эппинг-форест, а потом давал в «Адвертайзере» объявления о льготной торговле крупными партиями дров. Нет, сегодня в мастерских чересчур жарко.

– Готовый автомобиль ежеминутно сходит с конвейера, а, кореш? – смеется Бэл, шлепая тачку по крылу.

– Да, придурок херов, ежеминутно. Хоссподисусе, ну и парилка. Слушай, мужичок, чегой-то у меня в горле пересохло. Как насчет глотнуть?

– Что ж, годится. Встречаемся у «Скорбящего Мориса». Я с ней сперва чуток поваландаюсь, – говорит он, снова похлопывая машину по капоту, ласково так, точно это задница, или сиськи, или типа того.

Ну, дорвался: автомобильный фанат, мать его. Меня больше привлекает мысль о Самантиных грудях и бедрах. Ох ты. Из-за этой чертовой жары у меня встал, да еще как встал-то. Я часто задумываюсь: имеет ли это какое-то научное объяснение или происходит просто оттого, что летом все кони разгуливают полуголыми? В общем, так или этак, скоро я до нее дорвусь, а покамест не повредит кружечка вкусного холодного пива. А Бэл пускай тут горбатится.

Наше общество перенасыщено полицейскими. Не успел я побыть в пабе и пяти гребаных минут, не успел сделать и двух траханых глотков, как подваливает этот мусор Несбитт – прямо заходит к «Морису» с таким видом, будто он и есть хозяин сего заведения. – Как она, Торни?

– Комиссар Несбитт. Какой приятный сюрприз.

– Не вижу ничего приятного в общении с криминальными элементами.

– Золотые слова, Джон. Сам от них как от чумы шарахаюсь. Хотя при твоей-то работе избежать этого нелегко, так что ты молоток, хитрован ты, ценю. Очков-то на этом много не наберешь, верно? Служебные перестановки у вас, должно быть, в порядке вещей. Никогда не пробовал автомобилями торговать?

Хмырь молчит, пыжится, испепеляет меня взглядом, точно я перед ним извиниться должен. Бармен Билли и его новенькая помощница глумливо хихикают. А я просто салютую сучьему мусору кружкой: твое здоровье!

– Где твой дружок Личи?

– Барри Лич... давненько Бэла не видал, – отвечаю. – То есть на работе-то, конечно, когда вас всего двое в деле, не больно-то разминешься, но вот в целом мы с ним последнее время почти не контактируем. По разным компаниям нас развело, улавливаешь мою мысль?

– Ну и в какой компании он теперь тусуется?

– У него самого спроси. Мы эти дни вкалывали не разгибаясь, некогда было про всякие тусовки – фусовки разговаривать.

– На той неделе вы заявитесь на «Милуолл», – говорит он.

– Не понял?

– Ты мне мозги не пудри, Торни. Матч «Милуолл» – «Уэст-Хэм». Национальная футбольная лига под эгидой страховой корпорации «Эндсли», первая группа. На той неделе.

– Извини, шеф, я сейчас не очень-то в курсе расписания матчей. Потерял всякий интерес с тех пор, как Бонзо сделали координатором. На поле ему равных не было, но координатор из него никакой, знаешь ли. Печальные, конечно, дела, но жизнь есть жизнь.

– Рад это слышать, потому что, если в субботу я запримечу на том берегу твою несчастную задницу в любом виде, прикиде и качестве, загребу тебя за подстрекательство к массовым беспорядкам.

Даже если тебя застанут в кройдонском пассаже, увешанного мешками игрушек, купленных для голодающих сирот, тебя все равно прищучат. Не суй свой нос в Южный Лондон.

– Только рад буду, мистер Н. Паршивый районишко, мне там никогда не нравилось.

Сроду не жаловал мусоров. Не из-за их службы, а просто по-человечески. Туда ведь не каждый пойдет, сечете, о чем я? Именно те вороватые, трусливые ребятишки, которых вы в школе мутузили, как раз и идут потом в мусора. Думают, надену, блин, форму, и все начнут мне жопу лизать. Впрочем, главная проблема с мусорами не в этом, а в том, что они все вынюхивают, вынюхивают. Вот эта сука Несбитт – коль уж вцепится в кого-нибудь, черта с два отпустит. Вы их лучше натравите на педиков, что трутся у детской площадки и лапают малышей. Больные, и мусора обязаны за ними приглядывать, а не кидать подлянок людям, которые свою лямку тянут как проклятые. Едва сучий мусор Несбитт выметается из паба, я звоню Бэлу в мастерские: – «Милуолл» отменяется. Несбитт раскопал. Он сюда приходил, к «Морису», и грозился всюю.

– Чего это он раньше времени растягвался? Ага, значит, у него личного состава не наберется, чтоб выстроить заслон. Дополнительное сокращение штатов, ну ясно. В «Адвертайзере» об этом все написано. Были б у него люди, молчал бы в тряпочку и попробовал бы повязать нас на месте. Я, что ль, должен тебе рассказывать, что мусора любят крупные заварухи: есть повод пожаловаться политикам, что общественный порядок-де совсем захирел, и нужно побольше денег, чтоб нанять побольше мусоров. А потом, если мы отменим акцию, милуолльские суки решат, что Восточный Лондон окончательно спекся.

– Правда, есть одно «но», – говорит Бэл. – Через две недели будет Ньюкасл.

Да. Остается время собрать всю контору в кулак. Это лучше, чем «Милуолл»; до Ньюкасла еще доехать надо, ха. И провинциалы могут зашевелиться. Их достали наши чисто лондонские махаловки. Будь доволен, если про акцию с «Милуоллом» хоть занюханный «Стандард» напишет, да и тот навряд ли. Ньюкасл меня больше устраивал. Лайонси оттуда никуда не денется. Я набрал приличный вес, натренировал удар, словом, подготовился к встрече с этой сучкой. В гробу я видал «Милуолл» без амбала Лайонси. Видно было, что вариант с Ньюкаслом задел Бэла за живое – он прискакал в паб как угорелый и потянул меня в отдельную кабинку. Да еще то и дело шугал хмырей, которые туда заглядывали.

– Знаешь, – сказал он, – меня тревожат Ригси и прочие. Этот их экстази, Торни, этот их треп о мире и дружбе.

– Понятно, – говорю я, а сам думаю о Саманте. Вечером мы с ней увидимся. На ее квартире в Ислингтоне. Она ногами такие штучки вытворяет. Зажимает подошвами мой член и просто потягивает, тихонько так, и я выплескиваю целый фонтан, даже не успев сообразить, что со мной, ешь-то, приключилось.

– Этот их треп меня заколебал, – говорит Бэл, – ну прямо зла у меня не хватает, Дейв.

– Понятно, – говорю.

Саманта. Хоссподисусе. Скоро мы ее дело обстряпаем в лучшем виде. Но Бэл, вот гад-то, будто мысли мои, ешь, читает.

– Слышь, корешок, – начинает Бэл, хмурый как туча, – ты ведь никакому коню не позволишь все обхезать? Нас с тобой, работу, контору и все прочее, а?

– Конечно нет, – говорю. – У нас с Самантой не те отношения. Она силовые методы очень уважает. Пряма-таки млеет от них, по-моему. И точно уважает, я ему не вру.

– Да? – улыбается он, но я ничего больше не говорю, уж только не про Саманту. Все, что требовалось на данный момент, я сказал. Он отводит глаза.

– Понимаешь, меня просто сегодня тревожат ключевые люди, именно ключевые. Ну, например, Ригси и Культяпый. Им ведь на самом деле ничего больше не надо. Упадок какой-то, право слово. С этими хмырями чувствуешь себя как в Древнем Риме, бесконечное, бля, эротическое путешествие. Неудивительно, что илфордские совсем зазнались. А кто будет следующий? Психованная жопастая шобла из Базилдона? Восточноэмпширские? Команда Грея?

– Притормози! – хмыкаю я. – Какая, в конце концов, разница, кто зазнался, кто нет? Мы этих подонков все одно сделаем!

Он улыбается, и мы чокаемся кружками. Бэл и я, мы с ним, ешь-то, ближе, чем кровные братья. Духовные соратники и все такое. Всю жизнь ими были. Теперь голова должна болеть о Саманте, хотя... я вдруг вспоминаю песню «Эй-би-си», одну из моих любимых, про то, что прошлое – священная корова, а ты иди, иди себе вперед.

Вот в чем Бэлов заскок, он слишком усердно молится священной корове прошлого. Кто-то, кажется старуха Мэгги, выразился в том смысле, что все мы должны стремиться к новизне и принимать вызов будущего. А ты не принимаешь вызов – ты в калоше, точно печальные алкоголики с Севера, которые льют и льют в свое пиво слезы по когдатошним фабрикам, по закрытым шахтам. Не смей делать из прошлого священную корову, ешь-то!

Есть настоящее – мы с Самантой, Самантины заботы. Не могу я больше сидеть тут и слушать Бэла, надо встряхнуться перед встречей. Нам же ночь вдвоем предстоит. Дома включаю автоответчик: голос Вши. Я даже не вслушиваюсь в то, что она там бормочет. Паскудство какое, я думал о Саманте, и мне было хорошо, а эта лезет в мою жизнь немытыми штиблетами, будто у нас с ней есть хоть что-то общее. Мне только Саманта нужна.

Переодеваюсь и мчусь к ней задолго до условленного. Предчувствую, что будет, и снова в отличном настроении, потому что, когда из-за угла прямо на меня выворачивает самосвал, я не вякаю, не лаюсь с шофером, не сую ему в зубы, я просто улыбаюсь и машу рукой. Вечер слишком прекрасен, чтоб кипятиться из-за какого-то сраного раздолбая.

Судя по выражению лица, она готова. Ну да, к чему тратить время.

– Снимай с себя все и ложись на кровать, – сказала она мне. Что ж, я так и поступил. Стащил джинсы, рубашку и туфли. Снял носки и трусы. Забираясь в постель, почувствовал, как толстый стельбел начал топорщиться.

– Мне всегда нравились хуи, – сказала она, выскальзывая из кофточки, как змейка. Так она двигалась – как змейка. – По-моему, все выступающие части тела очень красивые. У тебя их пять, а у меня только две. Значит, одну ты мне должен отдать, так?

– Да, так... – сказал я, перед глазами поплыло, и голос сделался чертовски хриплым.

Она сняла леггинсы, помогая себе ногами, сперва с одной ноги, потом с другой. Они были похожи на руки, эти ее ноги. Чем больше я наблюдал за ней, тем меньше верил, что такое бывает.

Я впервые вижу ее совершенно голой. Я, конечно, раньше представлял себе этот момент, целыми днями, изо всех сил представлял. Забавно, после этого я всегда чувствовал за собой какую-то вину, что ли. Не в связи с тем, что у нее нет рук, но потому, что представлять голой ту, которую по-настоящему обожаешь, в общем-то мерзко, но я уж такой, какой есть, и не привык справляться с подобными мыслями. И вот она передо мной. Ноги длиннющие и ладно скроенные, идеальные женские ноги, и чудный плоский живот, и восхитительный зад, и большие груди, и лицо. Дьявольское лицо, будто у ангела чертова. Затем я посмотрел туда, где у всех растут руки, и... расстроился. Расстроился и разозлился, ешь-то.

– Люблю ебаться, – говорит она. – Мне не пришлось этому учиться. Врожденный талант. Моему первому парню было двадцать восемь, а мне двенадцать. В приюте. Он чуть не свихнулся. Туг все дело в бедрах, а никто так не владеет своими бедрами, как я, и такие, как я. Никто так не владеет губами и языком, как я. Знаешь, многим мужчинам это правда нравится. Да, ясно, считается, что только извращенцы способны сношаться с уродками...

– Нет, не уродка ты. Не называй себя так...

Она мягко улыбается мне:

– Хотя изюминка, очевидно, в том, что имеешь неограниченный доступ. Нет рук, чтоб отталкивать парней. Им нравится думать, что я незащищена, что из меня не торчат эти грабли, которые их отпихивают, мешают им получить свое. Ты ведь такой же, правда? Вот оно все перед тобой, неограниченный доступ к грудям, к пизде, к заднице. Куда вздумается. Ух, если б у меня еще и ног не было, да? Просто кукла для ебли. Ты мог бы сплести сбрую, запрячь меня в нее и иметь с какой угодно стороны, в какое угодно время. Ты считаешь, я незащищена, лежу тут исключительно для твоих нужд, чтоб ты совал в меня свой дымящийся хер утром, и днем, и вечером.

Не то она говорит, ешь-то, не то. Не то она говорит. У меня уже мания какая-то. Наверно, в тот раз нашла в холодильнике дыню... точно, нашла.

– Если ты имеешь в виду дыню...

– Ты это о чем? – спрашивает она. Значит, не нашла, слава яйцам. Я снова наезжаю на нее: – Ну для чего ты все это говоришь? А? Я люблю тебя. Я люблю тебя, ешь-то!

– Иными словами, хочешь сношаться со мной.

– Нет, я люблю тебя, люблю же.

– Ты меня чуть-чуть огорчаешь, мальчик с Майл-энда. Тебе что, никто никогда не говорил, что любви на этом свете не существует? Существуют лишь деньги и сила. Вот это слово я понимаю:

сила. Я росла и зубрила, зубрила про эту силу наизусть. Сила, против которой мы восстаем, когда пытаемся требовать с них долг, требовать то, что наше по праву: с капиталистов, с правительства, с юстиции, со всей этой ебаной клики правящих миром. Как они, черт, наострились сплачивать ряды и цепляться друг за дружку! Тебе это еще только снится, Дейв. Разве не тем же занимаетесь ты и твоя контора, только в своем, игрушечном масштабе? Сила, чтобы причинять боль. Сила, чтобы присваивать. Сила, чтобы быть таким крутым, что тебя никто никогда не посмеет облапошить. Никто никогда? Но это роковая ошибка, Дейв, потому что кто-нибудь да когда-нибудь обязательно облапошит.

– Может, я раньше так думал, но теперь изменился. Мне лучше знать, что у меня на душе, – говорю я ей. Прикрываю рукой промежность. Эрекции как не бывало, положение самое идиотское: сидишь в постели голый рядом с голой девчонкой и ни хрена не предпринимаешь.

– Что ж, очень жаль, миленький мой конторский. Потому что, если ты не врешь, ты мне не подходишь. Не нужен мне болван, который разочаровался в силе. Все вы, мужики, такие: на словах орлы, а до дела дойдет – в бега. Всегда такими были. Вот папочка мой тоже в бега ударился.

– Не разочаровался я, ешь-то! Я на все для тебя готов!

– Хорошо. В таком случае я намерена сосать твой член, пока он не встанет, как в прежние времена, а потом ты сам выберешь, куда меня употребить. Все запреты, как говорится, налагает только твое собственное воображение.

Так она решила, и я ничего не мог с этим поделать. Я любил ее и хотел о ней заботиться. Хотел, чтоб и она меня любила, а не лаялась, ровно озверевшая шлюха. Не по нутру мне девушки, которые так вот лаются. Видно, начиталась всяких пакостей или с психами наобщалась, от них и подцепила эту манеру разговора. Да, я ничего не мог поделать, и знаете что? По-моему, она с самого начала отлично понимала, что так все и будет, по-моему, отлично, ешь-то, понимала.

Она накинула халатик. И сразу стала до того красивая, может, потому, что он повис у нее на плечах так, словно бы под ним были руки. Но если бы под ним были руки, она б сейчас тут не рassiживала с таким отребьем, как я.

– Когда ты собираешься пришить Стерджесса? – спросила она.

– Не стану я его пришивать. Не стану, и все.

– Если любишь меня, станешь! Ты ведь только что обещал! – закричала она. Заплакала. Блин, не выношу, когда она плачет.

– Так не годится. Я даже не знаю этого хмыря. Это ж убийство, понимаешь?

Поглядела мне в лицо, села на постель рядом.

– Дай-ка расскажу тебе одну историю, – говорит. И, пока не закончила, всхлипывала.

Сразу после родов Самантин старик отчалил. Не смирился с тем фактом, что у его дитяти нету обеих ручек. Зато старуха, та без затей пошла и тихо повесилась. Так что Саманта росла в холе и неге. Правительство и разнообразные судебные инстанции горой стояли за тех, кто произвел лекарство, ей сперва даже не собирались выплачивать пособие по инвалидности, ни ей, ни другим детям, которые родились безрукими. Вот так вот. Лишь когда журналисты стали копать шубже и подняли хай в газетах, только тогда те расщедрились. Этому хренову Стерджессу, а именно он, сука, все и заварил, пожаловали дворянство, этой старой, ешь-то, мочалке. Он был главным, но они все его защищали. Он сотворил этакое с моей девочкой, с моей Самантой, а его, на фиг, произвели в рыцари за особые заслуги перед фармацевтикой. Должна же хоть где-то найтись справедливость. Обалдеть можно.

Короче, я пообещал ей, что сделаю это.

Потом мы с Самантой легли и занялись любовью. С ней было чудесно, не то что со Вшой. Я кончил как полагается и порядком от этого притащился. И пока мы с ней были вместе, я видел перед собой только ее лицо, ее прекрасное лицо, а не харю того гребаного миллуоллского пидора.

## Оргрив, 1984

Для Саманты Уортингтон слово «террористка» звучало слегка смехотворно. «Международная террористка» – так и просто дико. Саманта Уортингтон, выросшая на окраине Вулвергемптона, была за границей лишь однажды – в Германии. Ну, еще раз ездила в Уэльс. Два путешествия, в каждом из которых их могли прищучить. Две акции, после каждой из которых она чувствовала необычное оживление, сознание выполненного долга и тем большую готовность к следующей.

– Так ничего не выйдет, – говорил Андреас. – Давай заляжем на дно на подольше. Потом всплывем и ударим. А потом заляжем снова.

В каком-то смысле Саманта не просто учитывала вероятность поимки; она душой принимала ее обязательность. Ее историю растащат по газетам, и может, кто-нибудь не только взъярится, но и поймет. Мир поляризуется, а разве не этого и надо добиваться? Ее выставят либо как хладнокровную психопатку, «международную террористку Красную Сэм», либо как глупую, наивную девицу, одураченную более злонамеренными персонажами. Черная Ведьма или Падший Ангел; ложный, но неизбежный выбор. Какую роль ей придется играть? Она снова и снова вчуже примеряла на себя разные ужимки в зависимости от того – какую.

Саманта понимала, что правда куда более сложна. Она оглядывалась на силу, ее подталкивавшую, – отпущение, и на силу, ее направлявшую, – любовь; и сознавала, что не могла поступать по-другому. Она была узницей, но узницей по доброй воле. Андреас излучал такой свет, который намекал, что он станет другим человеком, как только ошибки будут исправлены. То был просто намек, и нутром Саманта опять-таки понимала, что этот намек обманчив. Разве не заговаривал он о переходе от частных акций к политике государственного устрашения? Да, то был просто намек, но до тех пор, пока он существовал, Саманта не могла с ним порвать.

Со своей стороны, Андреас уповал на дисциплину. На дисциплину и благоразумие. Разница между ними и озверевшими радикалами или революционерами заключалась в социальном статусе. Они с Самантой для внешнего мира являлись рядовыми гражданами, политически не ориентированными. Саманта лишь однажды нарушила свою легенду.

В Лондоне у нее были друзья, состоящие в Комитете поддержки шахтеров, они-то и уговорили ее отправиться в Оргрив. Картина силовой борьбы осажденных представителей рабочего класса с наемниками машины господства открыла ей глаза на многое. Она просочилась в первые ряды пикетчиков, налетавших на кордоны полиции, которые защищали штрейкбрехеров. Она была вынуждена действовать.

Сопливым беловоротничковый управленец, отозванный из Лондона под залог увесистого конверта, раздувшегося от сверхурочных, которые отселяются государством за безупречную службу, и в голову не мог взять, что безрукая девушка способна так садануть ему по яйцам. Сквозь слезы, хватая воздух ртом, он глядел, как она растворяется в толпе. Скрытая камера в белом автофургоне также запечатлела действия Саманты и ее ретираду.

## Лондон, 1990

Брюс Стерджесс сидел в кресле в своем просторном саду у берега Темзы близ Ричмонда. Был теплый, свежий летний день, и Стерджесс вяло провожал глазами катящиеся воды реки. Прозвучал гудок проходящего парохода, и пассажиры, не все конечно, помахали сидящему с палубы. Очки Стерджесс не надел и потому не разобрал названия парохода, а тем более не опознал пассажиров, но лениво помахал этой выставке улыбок и темных очков, чувствуя себя единым целым с этим кусочком большого мира.

Затем, по причине, в которую ни с кем не хотел бы вдаваться, вытащил из кармана клочок бумаги. Корявым почерком там было написано: МИСТЕР ИКС, ПОЗВОНИ МНЕ, ПОЖАЛУЙСТА. ДЖОНАТАН. Дальше – номер телефона и громадный косой крест, символ поцелуя. Маленький романтический пострел. Он думает, и впрямь Брюс Стерджесс, СЭР Брюс Стерджесс, опустится до интрижки с жадным до денег мальчиком по вызову из дешевой конторы? Ведь тут на улице, только руку протяни, найдешь кучу блядунов за десять пенсов с деланной наивностью на физиономии, на каких Брюс западает. Нет, решил Стерджесс, все эти морды сливаются в одну. Требуется тот, которому можно выложить всю душу, а он не проболтается потом. Он смял в руке полоску бумаги, отдавая изумительному наплыву ярости. Когда наплыв схлынул, пришло летучее чувство испуга, и он расправил полоску и положил ее обратно в карман. Брюс Стерджесс не мог заставить себя выбросить эту полоску. Лучше откинуться в кресле и следить за кораблями, лениво движущимися по Темзе.

Стерджесс начал припоминать собственное прошлое – занятие, которому он полюбил предаваться с момента отставки. Воспоминания всегда доставляли ему по меньшей мере удовлетворение. Блеск рыцарской шпаги, что там ни говори, и в наши дни не потускнел. Удобно было рекомендоваться сэром Брюсом – не потому, что тебе предлагали лучший выбор вин, лучшие апартаменты, посты в дирекциях и прочие привилегии, просто «сэр Брюс» звучало для его ушей приятно, эстетически при-



ятно. «Сэр Брюс», – тихо повторял он сам себе. Частенько повторял. Да ладно, по общему мнению, если кто и заслуживал этого титула, так это он. Он упорно карабкался по корпоративной лестнице, прошел путь от дипломированного ученого и экспериментатора до предпринимателя, а затем и до члена правления «Юнайтед фармакологджи» – концерна по производству лекарств, пищевых продуктов и алкогольных напитков. Само слово «теназадрин», натурально, стало ругательством. Сотрудники могли морщиться как угодно, однако в каждой корпорации случаются проколы, и задачей Брюса Стерджесса тут было деликатно умыть руки. Для оргвыводов существуют нижестоящие и не столь изворотливые, а бок о бок с Брюсом Стерджессом таких работало более чем достаточно. Его хладнокровные действия в данной ситуации лишь повысили его рейтинг расчетливого функционера.

Собственно трагедия для него лично выражалась в фунтах стерлингов: компания теряла и теряла доходы. Стерджесс брезговал просматривать газетные разделы «Общество» или бесчисленные телесюжеты о теназадриновых детях. Конечности и отклонения от нормы редко привлекали его внимание. Был, правда, момент, когда этот настрой изменился – пока он вкалывал в Нью-Йорке. Жизнь в большом городе, где он никого не знал и никто не знал его, постепенно ослабила его самоконтроль, и он вплотную занялся той стороной своей сексуальности, которую со школьной скамьи подавлял. Именно тогда он осознал, что значит отличаться от других, и различил в себе пугающее сочувствие. К счастью, это продолжалось недолго.

Он хорошо помнил, как впервые столкнулся с теназадриновой проблемой въяве. Он с двумя сыновьями собирался играть в крикет на Ричмонд-коммон. Установили калитки, и Стерджесс уже замахнулся битой, как вдруг что-то его отвлекло. Безногий ребенок неподалеку. Мальчик двигался, сидя в коляске, похожей на скейтборд, – отталкивался от земли руками. Он выглядел омерзительно, непристойно. Стерджесс немедленно ощутил себя доктором Франкенштейном, мучимым беспощадной совестью. Он твердил себе: я не производил это лекарство, я просто покупал его у фрицев и перепродавал. Да, ходили слухи – и не просто слухи, имелся отчет, положенный им под сукно, где указывалось, что контрольные испытания были проведены без должной строгости и что токсичность препарата превышала первоначальные прикидки. Как химик по образованию, он обязан был бы вникнуть во все это пристальнее. Но речь-то шла о теназадрине, о чудо-обезболивающем. Раньше обезболивающие никаких существенных побочных эффектов не давали. И потом, не один их концерн изъявлял желание приобрести преимущественную лицензию на распространение продукта в Соединенном Королевстве.

Конкуренты времени зря не теряли, и Стерджесс не мог позволить им себя обойти. Он подписал контракт с одним из немцев, странным таким типом, в комнате отдыха аэропорта Хитроу. Фриц все вилял, начал что-то мямлить насчет дополнительных испытаний и всучил Стерджессу копию того самого отчета. Однако в препарат уже было вложено слишком много, чтобы медлить с выходом на рынок. Слишком много времени, слишком много денег, слишком много клятвенных заверений ключевых лиц концерна, Стерджесса в их числе. Отчет так и не выплыл наружу, он был предан кремации в камине Стерджессова дома в Западном Лондоне. Все это прошло перед внутренним взором Стерджесса, пока ребенок барахтался в своей коляске, и Брюс впервые скорчился под грузом вины.

– Валяйте без меня, – крикнул он своим оторопевшим мальчикам и поплелся к машине, пытаясь взять себя в руки, глубоко дыша, пока страшное видение не развеялось. С тех пор он не играл в крикет. И решил, что справился. Типично английский способ борьбы с неприятностями: засовываешь боль и вину в дальний глухой ящик души – так хоронят в гранитной оболочке запаянные капсулы с радиоактивными отходами.

Он вспомнил старину Барни Драйсдейла; Барни, с которым прошел весь этот путь плечом к плечу.

– Мне все жмурики мерещатся, Барни, – пожаловался он тогда своему товарищу. – Выше голову, парень. Ну, лажанулись мы разок, нашей популярности это не способствует. Что ж, затянем потуже пояса, скоро господа журналисты отыщут себе новый жупел. Столько человеческих жизней спасено благодаря нашим революционным прорывам в фармакологии, и хоть бы кто-нибудь доброе слово сказал. В подобные времена надо держать оборону. Эти проныры газетчики и жалостливые читатели, верно, думают, что прогресс в науке не требует жертв. Так вот, они не правы, требует.

Полезный вышел разговор; после него психологическое состояние Брюса Стерджесса резко улучшилось. Барни был кремень-человек. Он учил Брюса мыслить избирательно, делая упор на собственных достоинствах и оставляя недостатки иностранным партнерам. Да, истый англичанин. Брюсу теперь очень не доставало Барни. Несколько лет назад его друг сгорел заживо на собственной даче

в Пембрукшире. Вину возложили на какую-то экстремистскую группировку валлийских националистов. Ублюдки, думал Стерджесс. Кому-то могла, пожалуй, прийти в голову мысль о воздаянии, но только не Брюсу. Просто случайное совпадение, дьявол его раздери. Как все-таки была фамилия того фрица, дремотно соображал он, глаза на припеке слипались. Эммерих. Гюнтер Эммерих.

Подставив лицо солнцу, сэр Брюс погружался в сон. Всех пофамильно помню, подумал он с гордостью.

## Засада

Мы собрали примерно сотню конторских, чтобы раскурочить Ньюкасл. Ситуация к тому времени слегка накалилась. После отчета Тейлора и грядущей ликвидации стоячих секторов этот сезон мог оказаться последним, когда получится устроить полноценную бучу по всей площади трибун. Кое-где стадионы уже начали переоборудовать. Самую соль игры испохабят, придурки.

Конкретно по поводу Ньюкасла мы выяснили, что мусоров туда нагонят видимо-невидимо и настоящей махаловки стенка на стенку не выйдет. В пятницу вечером у «Скорбящего Мориса» мы с Бэлом провели жесткий инструктаж: не иметь при себе ничего, что может сойти за оружие. Мусора цеплялись за любую мелочь, лишь бы повязать человека. Вся акция, по замыслу, сводилась исключительно к демонстрации силы, к саморекламе как бы: пусть эти жирдяи тайнсайды смекнут, ешь-то, что с кокни до сих пор шутки плохи. Побросаем в них заточенными монетками, споем несколько песенок и вообще понагадим на улицах, чтоб помнили, в каком сортире живут. Но уж непосредственно на стадионе – ничего; ничего, что позволило бы понабить конторскими все тамошние камеры. Распоряжались только мы с Бэлом, и никто ни разу не встрял – ни илфордцы, ни прочая шваль.

Короче, тридцать два конторских отбывают в Ньюкасл с вокзала Кингс-кросс, чтобы поспеть к одиннадцати, когда откроется кабак, облюбованный нами в Тайнсаиде. Второй эшелон, тоже тридцать с чем-то человек, приезжает на девятичасовом и заваливается в другой паб, в двух шагах от первого. Третья группа, в подобающих случаю шарфах, садится в автобус вместе с болельщиками, и автобус должен быть в Ньюкасле около часу. Эти третьи, по идее, сразу разделяются на две кучки и топают в вышеуказанные пабы, каждая в свой. Кучки – приманки для тайнсайдцев, которые тоже хотят пива, волокутся следом и попадают прямо к нам в лапы. В пятницу днем мы отправили вперед себя двоих дозорных, чтоб поглядывали, все ли вокруг ладно, и встретили нас на вокзале.

Но, как выражался классик, прахом идут надежды мышей и людей, ну или типа того, потому что нашим планам не суждено было сбыться. Люблю наведываться в Ньюкасл, там себя чувствуешь королем. Этакая чертова даль и глушь. Давайте честно признаем, тамошние козлы больше похожи на шотландцев, чем на чистокровных англичан, нечесаные, некультурные. У города такой видок, что мороз по коже. Дома лепятся по мрачному холму, мосты какие-то уродские через мутную реку перекинуты. Народец там типично северный, кряжистый, ссальник на пивоварне не дотумкают оборудовать, зато изгородь на колья разбирают шустро и шерудят этими кольями смачно, если до драки доходит. Обычно, прежде чем уроешь такого раздолбая, взмокнешь весь. Я-то, конечно, не мандражирую, урывал ведь их, и не раз, а от мороза по коже выпивка хорошо помогает, но запала у меня нет никакого. Хочу к ней обратно, обратно в остофигевший Лонд. На дискотеку какую-нибудь или даже под рейв, экса наглотаться. Только мы с ней, только мы вдвоем.

Тем временем мы уже чапаем к вокзалу. На Кингс-кросс в поезд сели двое легавых, однако в Дареме сошли. Я догадался, что они радируют в Ньюкасл, и приготовился упасть в объятия местной полиции. Но поезд остановился, а вокзал был практически пуст.

– Не видать мусоров! Где эти херовы полицейские? – взвыл Бэл.

– Что ж здесь такое творится? – поинтересовался Ригси.

Но я уже кое-что услышал. Далекое шарканье подошв, потом крики. Ага, вот и они, заполняют вестибюль, некоторые – с бейсбольными битами.

– ОНИ СТАКНУЛИСЬ, ЕШЬ-ТО! – заорал я. – ТАЙНСАЙДСКИЕ УБЛЮДКИ И СТОЛИЧНЫЕ МУСОРА! МЫ УГОДИЛИ В ЗАСАДУ!

– НЕ ОТСТУПАТЬ! ЩА ВЛОМИМ ЭТИМ СУКАМ! – подхватил Бэл, и мы начали вламывать.

Мне крепко саданули поперек спины, но я еще трепыхался, я пер в самую их гущу. Стало весело. Я выкинул из головы все на свете. Тяжесть улетучилась, теперь имели значение только удары тел о тела. Я ловил кайф. Так вот ради чего все. А я-то и позабыл, что значит «правильно». Тут я поскользнулся на кафельном полу и упал. На меня наступали сапогами, но я даже не уворачивался, про-

сто корчился от боли, и вился ужом, и лягался. Я умудрился встать, потому что Ригси в одиночку поднял переносной барьер и оттеснил их. Я схватил за шкирку какого-то козла с рекламой кока-колы на майке, держал и бил в лицо, держал и бил. У него из кармана выпал резиновый жгут, и я вдруг понял, что он просто несчастный сопливый героинщик, который угодил в эту заваруху со страшного бодуна.

Внезапно появились мусора, и все, как по команде, драпанули в разные стороны. На улице ко мне подвалил один хмырь с синяком на скуле.

– Ах ты гребаный кокни, – сказал он с тайнсайдским выговором, но посмеиваясь при этом. – Слышь, отличная вышла махаловка, – добавил он.

– Ага, круто было, – согласился я.

– Ладно, мужик, я еще слишком эксанутый, чтоб нюни-то распускать, – улыбнулся он.

– Ну ясно, – кивнул я. Он выставил большие пальцы вверх и сказал: – До встречи, мужик.

– Наверняка встретимся, тайнсайдец, – расхохотался я, и каждый из нас пошел своей дорогой. Я лично направился к пабу, где мы уславливались встретиться. На меня вырулили еще два тайнсайдца, но я даже кулака не смог сжать, настолько выложился.

– Ты, мля, уэст-хэмский? – спросил один из них.

– Аэ отлепиэсь, яа за Шоэтландию боалею, – пробурчал я с фальшивым акцентом.

– Хорошо, парень, извини, – сказал он.

Я и с ними разошелся и наконец попал в кабак. Там уже ждали Ригси и еще кое-кто из наших, так что мы потащились к стадиону и сели на трибуну прямо перед носом у тайнсайдских. Я решил было выдрючиться, просто из чистого интереса, но Ригси заметил мусора в штатском, который глаз с нас не спускал. Первый тайм мы высидели, но скука была смертная, и, дождавшись перерыва, мы вернулись в паб. Прежде чем выйти оттуда, я отвесил по плюхе парочке придурков бильярдистов, мы побили кружки и перевернули несколько столиков.

На улице мы увидели, что матч закончился, основной состав конторы шагает к вокзалу под полицейским эскортом, а свора тайнсайдцев улюлюкает вслед. Мусора вели себя тихо, среди них теперь были и конные, и на машинах. Рыпаться нам было не с руки, но меня радовало, что я залезаю в поезд и возвращаюсь к Саманте. Бэла переполняла гордость за контору.

– Эти суки прекрасно поняли, чего мы с вами стоим! – воскликнул он. Ни илфордские, ни грейские, ни ист-хэмские ему не возразили. Я попросил у Ригси таблетку экса и сошел где-то в районе Донкастера.

## **Шеффилдская сталь**

Я обнаружил чертова хмыря. Стерджесса. Хмыря, что должен умереть за то зло, которое причинил моей Саманте. Я тебя зацапал, хмырь.

Хмырь тормозит на Пиккадилли-серкус, там в машину заскакивает его молодой крендель, они едут по объезду и поворачивают к Дилли, забирая вправо, чтобы обогнуть Гайд-парк. Я на стреме. Машина останавливается у Серпантина. В темноте обзор минимальный, но я догадываюсь, что творит голубой в салоне, я же не дурак. Примерно через полчаса машина трогается с места. Они направляются обратно к Пиккадилли-серкус, где молодая подстилка и выныривает. Я в состоянии держать пидора. в поле зрения еще милую, не больше. Я делаю неполный круг и нахожу мальчика на том же месте, а Стерджесс смылся. Приваливаю к голубому всем крылом, как к стоянке.

– Тебя подвезти? – спрашиваю.

– Да, пожалуйста, – отвечает с северным выговором, но не с настоящим северным, не так, как звучит речь обыкновенного северного подростка.

– Как насчет позабавиться по дороге, ласточка? – спрашиваю я, пока он залезает в машину.

Его повадка вызывает у меня черные мысли. Если думать в этом направлении, потемнеет в голове. Он опасливо оглядывает меня девичьими глазами с поволокой.

– Двадцать, до Гайд-парка, туда и обратно.

– Лады, – говорю я, включая зажигание.

– Именно до этого места, – просит он.

– Да, хорошо, не волнуйся, – говорю я ему.

Врубаю стерео. «Эй-би-си», «Любовный словарь», мой самый обожаемый альбом всех времен и народов. Величайший альбом из всех когда-либо записанных, и не спорьте. Мы углубляемся в парк,

и я подруливаю к той самой точке, где этого раздолбая имел Стерджесс.

– А, вы не в первый раз, – улыбается он. – Смешно, вас не принять за профа, вы слишком молоды. Мне по душе, что вы молоды, – лепечет он.

– Да и мне по душе, приятель, да и мне по душе. Так откуда ты вообще-то родом, а?

– Из Шеффилда, – говорит он.

Трогаю пальцем шрам на подбородке. Я заработал эту рану в Шеффилде два года назад. Бремелл-лейн, победа, цепь с велосипеда. Я, оказывается, поэт, вот за собой не замечал-то. Те хмыри из «Юнайтед» оказались ничего, не промах. А шоблу из «Венсдей» никогда не уважал: паникеры занюханные.

– Ты Сова или Бритва?

– Кто-кто? – шепчет он.

– Футбол, впитываешь? Ты болел за «Венсдей» или за «Юнайтед»?

– У меня к футболу никогда душа не лежала, – говорит он.

– А вот эта группа, «Эй-би-си», они все из Шеффилда. Помнишь того раздолбая в золоченом костюме. Это он поет на стереозаписи «Покажи мне».

Пускаю маленького хренососа к себе в ширинку. Сижу, щурюсь, глядя вниз, ему в затылок, в коротко стриженный голубой затылок. Никакого эффекта. Он прерывается и на секунду вскидывает глаза.

– Не тревожьтесь, – говорит он, – это со всеми бывает.

– Да я и не тревожусь, сладенький, – улыбаюсь я и вручаю ему двадцатку хотя бы за старания.

Этот хмырь из «Эй-би-си» все тянет свое «Покажи мне». А ты мне, ешь-то, что покажешь, мавдюк?

– Знаешь, – говорит, – а я было подумал, ты мусор.

– Ха-ха-ха... нет, золотой, я не мусор. Мусора для тебя, конечно, неподходящая компания, зато я компания просто кошмарная.

Он глядит как ушибленный. Пробует улыбнуться, но страх сковывает его педерастическую морду еще до того, как я хватаю его за костлявый загривок и размазываю его загодя оплаченную харю по приборной доске. Она сразу кровит, заливает кровью все, ешь-то, циферблаты. Я херачу его еще раз, и еще, и еще.

– НУ ТЫ, ДОЛБАНЫЙ ПИДАРАС! Я ТЕБЕ ЩА ВСЕ ЗУБЫ ВЫБЬЮ! Я ЩА ТВОЮ СОСАЛКУ РАСЧЕШУ, КАК КОШЕЧКУ У ГЛАДЕНЬКОЙ ДЕВОЧКИ. А ПОТОМ ТЫ МНЕ, ЕШЬ-ТО, КАК ПОЛОЖЕНО ОТСОСЕШЬ!

Я видел его лицо. Хмырь из «Милуолла». Лайонси. Лайонси Лев – его кличка. Скоро он опять нарисует. Я урываю его педерастическую морду вниз, и он орет, я ее поднимаю, и он ноет:

– Пожалста... я еще жить хочу... я еще жить хочу...

На сей раз я был крут. Я вцепился в его череп и хреначил, и хреначил, и он стал бляеть и блявать, его кровь и рвота текли по моим яйцам и бедрам... ДАВАЙ, ПИЗДА, ПОКАЖИ МНЕ!..гораздо больше крови, чем когда я вставлял Вше во время месячных... но я теперь в кайфе, и все, что вижу, – лицо Саманты, когда размазываю голубого по доске... как это тебе, девочка, как это тебе, думаю я, но я же, черт, стравливаю в рот этому кровящему уроду, этой твари...

– ООООЙ, НУ ТЫ ХРЕНОВ, МАЛЕНЬКИЙ ПИДОР!

Потом я задираю ему голову и смотрю, как гной, блевота, сперма выцеживаются из его разодранных щек. Убить мало. За то, что он со мной сотворил, убить его мало.

– Сейчас разучим с тобой песенку, – говорю я ему, включая стереосистему. – Договорились? Голос у тебя не оперный, брякая ты йоркширская запеканка, но коль ты не потрудишься, оторву тебе яйца и заставлю проглотить, ясно?

Кивает, хренов ранний пидорок.

– Я всю жизнь пускаю пузыри... ПОЙ, СУКА!

Он что-то мямлит измочаленным ртом.

– Пузыри на небосклон-н-н... они летают высоко, а рай все так же далеко, и, как мой сон, плывут легко... ПОЙ! судьба всегда в бегах, я всюду по-ис-кал, и я всю жизнь пускаю пузыри, пузыри на небосс...ЮНАЙТЕД!

Я и вправду выкрикнул «Юнайтед!», вмазывая кулаком в его несчастную физиономию. Потом открыл дверцу и вышвырнул его обратно в парк.

– Уфигачивай, ты, малолетний недорезанный ублюдок! – закричал я в спину ему, лежащему,

будто отмучившемуся. Отъехал и вернулся на то же место. Будто я сбил его, честное слово. Он же в этом деле никто, подвернулся просто.

– Эй, пидарас, расскажи своему дряхлому дружочку, что он будет следующим! У Саманты нет рук, нет мамы-папы, нет дома родного, и все из-за какого-то старого педераста. Ну лады, я это дело поправлю, или я не Дейв Торнтон.

Я вернулся к себе и услышал сообщение на своем хреновом автоответчике. Это оказалась моя мамаша, которая мне никогда не звонит. Голос у нее был и впрямь вздрюченный: «Навести меня немедленно, сынок. Случилось нечто ужасное. Позвони сразу же». Матушка моя; никому не кидала подлянок, ни разу в жизни, и что отхватила взамен? Да ничего, вот и все дела. С другой стороны – пидор, который уродовал детей во чреве, такой, ешь-то, расклад. Когда я смекаю, что может стрястись с моей мамой, я думаю про старого кренделя, про пьяного раздолбая. Коли он обидел маму, коль он хоть пальцем тронул мою старую мать...

## Лондон, 1991

Три года. Прошло три года, и вот он наконец приезжает. По телефону они, понятно, говорили, но теперь ей предстояло увидеть Андреаса, увидеть наяву. В последний раз они были вдвоем во время уик-энда, их единственного уик-энда за пять лет знакомства. Тот уик-энд случился после Берлина, где они вместе расчленили ребенка Эммерихов. Что-то в ней тогда щелкнуло, он в очередной раз съязвил, и центры, сдерживающие ее жестокость, отказали. Она бы все что угодно сделала ради него. Она и сделала. Детская кровь, терпкое вино их черного причастия.

Самое забавное, что сперва она хотела оставить ребенка себе. А что, живет в Берлине молодая пара, родители теназдринковые, малыш полноценный. Жаркими летними днями она гуляла бы в Тиргартене вместе с другими мамашами. Но он собирался принести ребенка в жертву, на алтарь ее преданности их общей цели. Когда она убила мальчика, вместе с ним умерла и какая-то часть ее самой.

Рассматривая его маленький, искореженный, безрукий трупик, она осознала, что и ее жизнь достойно завершена. Интересно, начиналась ли эта самая жизнь вообще? Она попыталась припомнить моменты, когда была по-настоящему счастлива; нет, какое там счастье, разве лишь смехотворно малюсенькие островки покоя среди океана пытки. Надежды на счастье не было, была лишь возможность или невозможность окончательной расплаты. Андреас твердил: ты должна переступить через себя, через свое эго. Солдаты перемен не могут быть счастливы.

Лучшую часть тех двух лет, что они провели вместе, Саманта находилась в некоем ступоре, практически в коме. Выйдя из этого транса, она обнаружила, что больше не любит Андреаса. Хуже того, она обнаружила, что вообще никого не способна полюбить. Теперь она ждала Андреаса после трех лет разлуки, и единственным, кто занимал ее мысли, был Брюс Стерджесс.

Наконец Стерджесс нашелся. Он принадлежит ей. Андреас, холодно рассчитала она, ей теперь чужой. Ей нужен только Стерджесс. Последний из оставшихся.

С тем, другим, в валлийском коттедже, прошло как по маслу. Он был беззащитен. Они вели его от веранды деревенского бара. Перед тем как залезть в окно его дома, она думала, внутри ей будет страшно. Нет, ни капли. После германской истории – ни капли.

Андреас стоял на пороге. Она бесстрастно отметила, что его волосы поредели, но на щеках сохранился юношеский румянец. На носу у него были очки в стальной оправе.

– Саманта, – он поцеловал ее в щеку. Она закаменела.

– Привет, – сказала она.

– Чего грустим? – улыбнулся он.

Она окинула его взглядом.

– Я не грущу, – сказала она, – просто устала. – И, без горечи: – Знаешь, ты навредил мне больше, чем все теназдринчики, вместе взятые. Но я тебя в этом не обвиняю. Так и должно было быть. Таково мое отношение к жизни, мой характер. Кто-то умеет отмахиваться от боли, я – нет. Мне нужен Стерджесс. После него я хоть как-то примирюсь с собой.

– Примирение невозможно до тех пор, пока экономическая система, основанная на эксплуатации...

– Нет, – она махнула ему, чтоб он замолчал. – Я не возьму на себя такую ответственность, Андреас. По отношению к системе я ничего не чувствую и не могу ее ненавидеть. Людей ненавидеть могу; но поднять свою ненависть на такой уровень абстракции, чтоб она касалась системы в целом, –

нет.

– Именно поэтому ты и продолжаешь прислуживать этой самой системе.

– Не будем спорить. Я знаю, зачем ты приехал. Держись от Стерджесса подальше. Он мой.

– Боюсь, велик риск того...

– Пусть мой выстрел будет первым.

– Как угодно, – Андреас возвел глаза к небу. – Но сегодня я пришел, чтобы поговорить о любви. Утром все спланируем, а сейчас займемся любовью, да?

– Никакой любви нет, Андреас, проваливай.

– Печально, – улыбнулся он. – Но ничего! Тогда вместо любви напьемся пива. Может, в клуб сходим, да? Я пока слабо ориентируюсь во всяких кислотных местах, совсем не разбираюсь в техно... Я, конечно, пробовал экстази, но только дома, с Марлен, чтоб как следует налюбоваться... или вылюбовиться...

Услышав женское имя, она вздрогнула: неужели вправду? Да, вправду, он показал ей фотографию женщины и двоих детей, одного лет трех и одного грудного. От их лиц веяло идиллическим спокойствием. Саманта уставилась на фото, Саманта прочла любовь и отцовскую гордость в глазах Андреаса. Любопытно, что за рожу скривил ее родной папочка, увидев ее в первый раз.

– Никакого примирения с собой до полного уничтожения системы, ага? – сухо рассмеялась она. Это был хриплый высокомерный смешок, и Андреасу от него, похоже, стало не по себе. Она презрительно улыбнулась. Она впервые видела его растерянным, и ей было приятно, что причина этой растерянности – она.

– Какие же у них хрупкие ручки... – продолжала она, опьяненная сознанием своей власти над ним.

Он выхватил у нее фотографию. И прорычал:

– Я где сейчас, там или здесь? Я что, наслаждаюсь миром и спокойствием? Нет. Здесь Стерджесс, и я здесь, Саманта. Кусок меня всегда здесь, всегда там, где он. Видишь, и я не умею отмахиваться от боли. Хочешь размяться?

Первая, кто нарисовалась, когда я приехал к мамаше, была Вша.

– Чего она тут забыла? – спрашиваю.

– Закрой рот, Дэвид! Она, слава те господи, мать твоего ребенка, – говорит старушка.

– Что случилось? Где Гэл?

– Его забрали в больницу, – говорит Вша, с сигаретой в руке, пропуская, ешь-то, копоть через ноздри. – Менингит. Он выздоровеет, Дейв, врач сказал, правда, мама?

Фигова Вша, называет мою старуху мамой, точно породнилась с ней.

– Нда, мы уж передергались, но он выздоровеет.

– Чуть с ума не сошли, – говорит Вша.

Приступаю к этой долбаной корове: – Куда его повезли?

– В восьмую градскую...

– Если с ним что-нибудь случится, ты будешь виновата! – режу я, хватаю со столика ее сумочку и перерываю потроха. – Вот у тебя что! Твое хреново курево в его несчастных легких каждый день по полной! – Сминаю пачку сигарет. – Еще увижу, что ты куришь рядом с моим сыном, ты у меня так же скукожишься! Вали отседова! Нечего тебе тут ловить! И не прикапывайся больше ко мне, поняла?

Я уже, ешь-то, в дверях, мамаша вопит, чтоб я вернулся, однако хренушки. Мчусь в больницу, вся душа переворачивается. Траханая Вша уложила его на койку как раз тогда, когда у меня образовались неотложные дела. Я приезжаю, пацан спит. Похож на ангелочка. Мне говорят, он выздоровеет. Мне надо ехать. У меня встреча.

Когда я прибываю, ешь-то, на место, я уже на приличном взводе. Я за ними следил, видел, как они входят и выходят, но теперь мне надо впервые войти туда самому. Меня от этого подташнивает. По дороге ко мне уже прикопался какой-то пидор, возвел очи горе и вякнул нечто о свидании в сортире. Я подробно объяснил, куда ему идти. У меня особый интерес, сидит в баре. Его просто вычислить: он тут самый старый. Присаживаюсь рядом с ним.

– Двойной бренди, – заказывает он бармену.

– У вас, должен заметить, весьма необычный выговор, – подкидываю я ему.

Он оборачивается и глядит на меня взглядом типичного пидора: губы раскатанные, гнутые, гла-

за мертвые, бабские. Меня попросту передергивает, когда он так вот оглядывает меня с головы до ног, словно я, ешь-то, кусок говядины.

– Давай обо мне не будем. Давай о тебе. Выпьешь?

– Да, само собой. Виски, пожалуйста.

– Наверно, я должен поинтересоваться, часто ли ты сюда заходишь и тому подобными условностями, – улыбается он. Чертов старый помоечный крендель.

– Я первый раз, – говорю. – По правде-то, мне давно сюда хотелось... то есть извиняюсь, конечно, что я с вами так напрямик, но я подумал, что раз вы, ну, что ли, в летах, вы меня лучше поймете. У меня жена и ребенок, и я не желал бы, чтоб они узнали, что я сюда пришел... что я хожу в такие места... Я хочу сказать...

Он взмахивает иссохшей, наманикюренной рукой, чтобы я умолк: – По-моему, с нами произошло то, что наши друзья экономисты называют случайным совпадением интересов.

– По-вашему, что?

– По-моему, нам обоим надо слегка размяться, но тайно, блюдя благоразумие.

Ага... благоразумие. Этого я и ждал. Слегка размяться, да. Этого я и хотел бы.

– Давай уйдем из этого притона, – предлагает он. – У меня тут голова начинает раскалываться.

Я б объяснил ему, что надо прекратить педриться на старости лет, и с головой будет все в порядке, но придержал язык, и мы ушли. Саманта ждет в мастерских, я дал ей ключи. На миг я подумал, что этой швали, этим занюханным панталонам не место на ист-эндском гаражном дворе, но окунуть уже загодя прокаженного пижона в дерьмо – отличное развлечение. Ладно, сейчас увидим, как он запоет.

Мы сели в мою тачку, и, пока молча ехали, я разглядывал в зеркальце его морщинистое, черепащее лицо; он напомнил мне подлую Нервную Черепаху из комиксов; я размышлял о том, как Саманта мною крутит, и я дергаюсь, как безвольный, ешь-то, пентюх, но плевать, потому что, если любишь, как я ее люблю, все сделаешь, всякую мутоту сделаешь, и это будет правильно, ешь-то, и пусть потом разбираются в раю, пусть там отцеживают злые и больные сердца...

## Мехмастерские

Я настроил стерео на «Эй-би-си», и только что поехала «Моя душа», песня, которая ввергает меня в тоску, когда я примеряю ее к обстоятельствам личной жизни. Я чуть не зарыдал, как девица, как раздолбанное школьное пианино, потому что педик спросил:

– Все как надо?

Мы припарковались к дверям. Я заглушил мотор.

– Да... то есть... ты ведь уже крутишься в этом деле, друг. Мне попросту неловко как-то. Ну, потому, что мы с тобой собираемся заняться этим самым, но это ж не значит, что мы разлюбили своих близких, верно же...

Гнилая груша похлопывает меня по плечу.

– Не волнуйся. Ты слишком нервничаешь. Ну же, – говорит он, выходя из машины, – мы зашли уже слишком далеко, чтобы останавливаться.

Он прав, это точно. Выхожу и направляюсь к двери. Высвобождаю замок, распахиваю. И прикрываю дверь снова, когда зигзагами провожаю его к гаражу. Саманта включает свет, я обхватываю морщинистую шею Нервной Черепахи сгибом локтя и хреначу этому чудищу кулаком по зубам. Поцелуй из Глазго, как старик это называет. Притискиваю его к полу и бью изо всех сил по яйцам. Саманта тут как тут, она словно вытанцовывает ритуальные па, и ее плавники колотятся, как в игровом автомате, и она похожа на ребенка, и она говорит:

– Ты поймал его, Дейв. Ты поймал этого ублюдка. Он наш! – Она бьет задыхающуюся падаль носком туфли в живот. – Стерджесс! Ты обвиняешься в медицинских преступлениях! И ты еще, бя, попробуй не признать себя виновным! – кричит она, нависая над ним.

– Кто вы такие... Я вам заплачу... Я дам вам, сколько вы хотите, – стонет поруганный монстр.

Она смотрит на него как на сумасшедшего.

– ДЕЕЕЕЕНЬГИ, – орет она, – НЕ НУЖНЫ МНЕ ТВОИ ЕБАНЫЕ ДЕНЬГИ... на что б я дела твои ебанные деньги! Я тебя хочу! Ты для меня важнее, чем все денежки в мире! И хоть бы кто тебе, паскуда, такое признание в жизни сделал!

Я вешаю на цепь замок, потом обхожу вокруг и припираю дверь офиса. Саманта все еще измы-

вается над пидером, который просит пощады, словно большая девочка. Она мне кивает, и я хватаю пидора за шкурку и распяливаю его на слесарном столе. Из его слабой глотки капая кровь и сопли, и он плачет, словно младенец, даже не умеет принять воздаяние по-мужски. Чего, собственно, и ждать-то от провинциального сутенера. Я распластываю его на широком столе ничком. Я вижу, как в его глазах всплывает некое непонятное обещание, точно этот подонок и впрямь вообразил, что я дам его жопе шанс... словно мы добивались именно его жопы. Я приматываю его запястья к ножкам стола электропроводом, а Саманта на столешнице, уже на его ногах, придерживает их, пока я не прикрою.

Я налаживаю бензопилу, и тут этот Стерджесс начинает орать, но я слышу и другое, например стук в ворота. Чертовы мусора, похоже, у них полные обоймы. Саманта кричит:

– Держи их на расстоянии, держи их, бля, на расстоянии, – она пробует пристроить пилу на упор между собой и Стерджессом, который вертится, как угорь, выкручиваясь из моих завязок.

Замок и цепь удержат ворота ненадолго. Я даже не знаю, что б сделать, и вдруг вижу громадное алюминиевое ушко, толстенное, но без засову. Я сую туда запястье, сую запястье туда, где должен быть засов. Какой-то мусор гавкает в мегафон, но я не понимаю, что он говорит, потому что у меня в голове на всю катушку играет «Отрави стрелу». Коль уж она разбила мою жизнь, как ей сказать: давай, мол, отвяжись...

А Саманта до него добралась, я слышу, как гундосит пила, и уровень боли в моей руке повышается до непотребного; эта рука после того, что с ней произошло, уже не вырубит Лайонси из «Милуолла», да это никого и не колышет, и я кричу Саманте поверх шума:

– Доберись до придурка, Сэм! Давай, девочка! Доберись до него!

Зуд пилы меняется, когда та входит в мясо этого педика, как раз под плечом, и кровь хлещет и пятнает пол гаража. Какой же срач мы оставим в наследство бедному старине Бэлу, он-то нас не похвалит, веселей думать о Бэле, потому что пила вгрызается в мясо Стерджесса и уже допилилась до кости. Саманта раскачивается на бедрах с пилой в плавниках, отпиливает, направляя полотно ногами, части, которые служили придурку верой и правдой... боже, у нее такая физиономия, словно я ей вставляю, и вдруг я слышу другой, шрапнельный крик, на этот раз кричу я, это моя рука, и я вырубаясь, однако перед тем ловлю Самантин взгляд, когда я на нее рушусь, а она выкрикивает что-то, чего я уже не слышу, но впитываю, о чем это, у нее на изломе губ написано о чем. Она вся обмазана его кровью, которая изливается отовсюду, отовсюду, но она улыбается, точно маленькая пацанка, вокшающаяся в грязи, но она говорит мне: люблю тебя... и я еще повторяю это и плыву в темноту, и это лучшее в жизни чувство... судьба всегда в бегах... но я ее поймал, потому как я люблю ее и помог ей... я всюду по-исс-кал... Мусора могут творить что им заблагорассудится, все уже кончено, однако мне-то по хрену... Я всю жизнь пускаю пузыри,

пузыри

на небоскл

## От переводчика

Иногда мне казалось, что текст, над которым я работаю, – грубая агитка, иногда – что высокая проза с обилием лейтмотивов, обертонов и ювелирно выстроенным сюжетом. Но и в те и в другие моменты перехватывало горло: а ну как передо мной точный, на ближайшие пятнадцать лет, прогноз судьбы того поколения российских 13-16-летних, что сейчас читают журнал «ОМ», ночи напролет тащатся под рейв в экс-дансингах и мне лично представляются прилетевшими с другой, абсолютно не гуманоидной планеты? Надеюсь, не прогноз – тем паче что сам препарат экстази в повести, по-видимому, символизирует светлый, не экстремистский, антисиловой вариант пути.

Во всяком случае, говорить они будут явно не так, как Дейв Торнтон; у них пока вообще нет специфической речевой манеры, отличавшей, к примеру, наших хиппи (если не считать манерой тупой, дебильный, неизобретательный мат). Разве что словечко «конь» («девушка»; очевидно, от английского *cunt* или французского *con*) в переводе – сознательная мета их лексикона.

Зато у писателя Ирвина Уэлша особая повествовательная манера есть. Если помните, в одном из эпизодов фильма «Трейнспоттинг», поставленного по его роману и изначально адресованного английскому зрителю, речь героев сопровождается английскими же (!) субтитрами. Носители языка говорят, что читать Уэлша немо, «только глазами», невозможно; приходится произносить текст хотя бы про себя и по звучанию догадываться, о чем это.



Воспроизвести подобную структуру по-русски – задача заведомо безнадежная; противится традиция, и литературная, и попросту графическая. (Впрочем, попытка такого «слухового» начертания, не знаю уж, насколько удачная, предпринята в главке «Индзастройка», где контрастно имитируются шотландский, ирландский и вест-индский акценты. И еще: к финалу данной повести монолог героя-повествователя становится куда более вятен даже и «зрительно», чему русский текст пробует соответствовать.)

Однако и чрезмерно облегчать читателю жизнь – нечестно по отношению к автору. Он же не Джеффри Арчер какой-нибудь. Поэтому переводчику пришлось пойти на два рискованных мероприятия.

Первое – вроде бы невозможная, шокирующая русский эстетический слух концентрация сквернословия. Меня извиняет лишь то, что в оригинале обценных словечек (и зачастую в прямом значении) куда больше; все, что сумел, я смягчил; дальнейшее, на мой взгляд, отдавало бы жеманством и насилием над художественной сутью текста.

Второе – отказ от постраничных примечаний, которые в ряде случаев, казалось бы, прямо-таки напрашиваются. Но в английском издании повести примечания нет ни одного, а рядовой лондонец или бостонец разбирается в делах британских футбольных головорезов или в том, что изменилось на стадионах национальной лиги с публикацией отчета Тейлора, уверяю, не лучше, чем рядовой москвич или челябинец. Впечатление чужой, ЧУЖДОЙ планеты – ровно то же самое. И это очень важное, ключевое для восприятия прозы Уэлша впечатление.

Хотя пара комментариев, пожалуй, все же необходима. В главке «Вошья привычка» Дейв так недоволен появлением в пабе своего отца потому что тот – закоренелый шотландский националист, состоящий под присмотром полиции; «Ребята Билли», которых старик с пьяным пафосом ставит собравшимся в пример, – название ныне покойного шотландского ордена оранжистов; печальную известность этот орден приобрел благодаря своей деятельности в Ирландии. Вообще, если вы заметили, тема национализма и даже фашизма возникает в повести на разных уровнях, в разных регистрах и с тревожной регулярностью. К этой же теме – и последнее разъяснение: надпись на стене горящего дома в главке «Пембрукшир» означает «Уэльс для валлийцев. Да здравствует агнец».